



Эдуард Тополь

**Любожид**

«Эдуард Тополь»

1991

**Тополь Э. В.**

Любожид / Э. В. Тополь — «Эдуард Тополь», 1991

ISBN 5-17-002533-5

Это – не просто международный бестселлер. Бестселлер скандальный – и эффектный. Не просто современная версия авантюрно-эротического романа в его вполне классической форме. Это – «Любожид». Книга, читать которую отчаянно интересно. Книга – в чем-то мучительно-грустная, в чем-то – увлекательно-забавная и от начала до конца бесконечно искренняя.

ISBN 5-17-002533-5

© Тополь Э. В., 1991  
© Эдуард Тополь, 1991

# Содержание

Пролог	5
Глава 1	7
Глава 2	23
Глава 3	37
Глава 4	46
Конец ознакомительного фрагмента.	65

## Эдуард Тополь Любожид

*И ныне у меня столько же силы, сколько было тогда, чтобы воевать и выходить и входить...*

**Иисус Навин, 14, II**

*Еврейство, как таковое, есть сила, которая требует себе подчинения и фактически его добивается в самых разнообразных положениях, и слабейшие среди других народов этому не в силах противодействовать.*

**Протоиерей Сергей Булгаков**

*Заметьте, я вовсе не хочу сказать, что быть евреем – такая уж удача. В конце концов, у евреев тоже есть проблемы...*

**Ромен Гари**

## Пролог

Была темная осенняя ночь 1978 года от Рождества Христова и канун 61-й годовщины рождения коммунистического колосса по имени СССР. Поезд-экспресс «Москва – Вена – Париж» шел к западной границе Советской империи. Пять часов назад он покинул Москву, столицу метрополии, и на следующий день прибывал в пограничный город Брест. Там пассажиры-иностранцы предъявляли паспорта таможенникам и после беглой проверки багажа могли, не покидая своих мест, ехать дальше – по вассальным подсоветским Польше и Чехословакии в еще свободную от коммунистов Австрию. Кроме иностранцев, такой же привилегией свободного проезда через границу обладали советские дипломаты, а также армейские офицеры и генералы, которые возвращались из отпуска в кремлевские дивизии, расквартированные в Венгрии, Германии, Чехословакии и в других европейских странах. Их румяные лица, хозяйский апломб и норковые шубы их жен лучше всего свидетельствовали о том, что за 60 лет коммунисты осуществили тысячелетнюю мечту всех российских князей и императоров – Москва стала не только Третьим Римом, но и превзошла в своем могуществе все имперские столицы, известные человечеству: в ее подчинении было больше ста народов Европы, Азии, Африки и даже Южной Америки. А ее дипломаты и офицеры колесили по всему миру и диктовали ему кремлевские условия выживания. При виде их особых заграничных паспортов даже суровые советские таможенники вытягивались по стойке «смирно» и брали под козырек: «Доброго пути, товарищ!»

Но остальных пассажиров этого ночного экспресса ждала иная, отличная от офицеров и дипломатов участь. Хотя они тоже ехали на Запад, они обязаны были покинуть вагоны, выгрузить из них своих детей, все свои чемоданы и прочую кладь и стать в очередь на таможенный досмотр – изнурительно-придирчивую проверку документов и багажа.

Эта очередь располагалась на привокзальной площади и была гигантской, как цыганский табор.

Однако поезд «Москва – Вена – Париж» не ждал, конечно, своих изначальных, московских пассажиров. Освободившиеся от них вагоны заполнялись теми, кто занял эту очередь несколько дней назад и уже прошел таможенный досмотр. И состав двигался дальше. Очередные 200 или 300 мужчин, женщин и детей переставали быть гражданами великого Советского Союза. За их спинами оставалась толпа завистников в брестской очереди и еще 270 миллионов

людей, не имеющих права даже купить билеты на поезда и самолеты, уходящие за границы державы.

Но кто же были те люди, которые покидали империю – с детьми, родителями и несколькими чемоданами ручной клади? Почему те же таможенники, которые были так вежливы с дипломатами и генералами, издевались над этими людьми, оскорбляли их и отбирали у них драгоценности, деньги, картины, музыкальные инструменты, детское питание, лекарства и даже семейные фотографии? И почему, зная, что их ждут эти издевательства, эти люди все равно спешили сюда со всей страны, бросая свои квартиры, работу, мебель и посуду? И почему, когда поезд перевозил их – ограбленных и нищих – через границу, они плакали и танцевали от радости?

Эти люди носили имя маленького кочевого народа, они называли себя «евреи». Впрочем, помимо этого имени у них были и другие – те, которые им придумали другие народы: в России их звали *жиды*, в Америке – *kikes*, в Испании – *marrams*, в Японии – *yudaya*...

## Глава 1

### Первый зов

*Наукой установлено и является научной истиной исчезновение древнееврейского народа, его полное растворение среди других народов... Процесс этнического разделения древнееврейского народа закончился полным исчезновением этого народа, растворившегося в массе народов Ближнего Востока, Передней Азии, Африки и Европы.*  
**Евгений Евсеев, «Фашизм под голубой звездой», Москва, 1971**

*Метафизическая, духовно-плотская полярность напоила мир половым томлением, жаждой соединения... Половая полярность есть основной закон жизни и, может быть, основа мира. Это лучше понимали древние, а мы отвратительно бессильны и вырождаемся все больше и больше.*  
**Николай Бердяев, «Метафизика пола и любви», 1907**

Лев Рубинчик был энергичным евреем с провинциальным детдомовским образованием и столичным честолюбием. К сорока годам он имел жену, государственную квартиру, двух детей и репутацию бойкого газетчика, которого под псевдонимом «Лев Рубин» печатали даже крупные московские журналы. Рискованная борьба евреев за эмиграцию обошла его стороной, это был процесс, который зачинали несколько сотен отчаянных сионистов, а Рубинчик не принадлежал к их числу. Да он и не считал себя евреем в полном смысле этого слова – он был атеистом, не знал еврейского языка, укоротил свою фамилию до ее русского звучания и пил водку не хуже любого сибиряка. И вообще он был, как он сам говорил, «допущен к корыту». Это означало, что власти позволили ему – еврею по рождению – получить высшее образование, работу в столичной газете, квартиру из двух комнат (и кухни) и возможность когда-нибудь продвигнуться до уровня заместителя главного редактора. Выше – на должность главных редакторов, директоров или управляющих – евреи в СССР, как правило, не поднимались.

Строй, основанный на доктрине немецкого еврея Маркса и при помощи русских евреев Троцкого, Зиновьева, Свердлова и других, унаследовал от царской империи государственный антисемитизм и негласную процентную норму допуска евреев к руководящим постам. При этом антисемитизм рос год от года, а процентная норма снижалась, но...

Не служебная карьера заполняла мечты Рубинчика. Книга! Серьезная, мощная, как он себе говорил, Книга, которая станет вровень с фронтовой журналистикой Хемингуэя, Стейнбека и Гроссмана, – вот что виделось Рубинчику в его честолюбивых снах. Он был уверен, что именно сейчас, к сорока годам, ему по плечу нечто большее, чем газетные статьи и очерки. Но пройдет еще немало времени, пока он найдет тему для этой книги. Будут уезжать через Брест и Чоп десятки знакомых и тысячи незнакомых ему евреев, будут улетать из Шереметьевского аэропорта дальние и близкие приятели, но Рубинчик будет избегать не только их проводов, а даже разговоров об эмиграции.

Так мусульмане избегают входить в православную церковь, и так религиозные евреи не просто избегают свинины, но и разговоров о ней.

Впрочем, в этом отстранении был и другой, более практичный смысл. Ведь каждый, кто общался с уезжающими «отщепенцами» и «предателями Родины», немедленно попадал в категорию «сомнительных», «ненадежных» и «политически неустойчивых». А это означало конец карьеры. Не арест, нет, но постоянную подозрительность начальства, лишение допусков и льгот,

а попросту говоря – изгнание от корыта. Из корыта сытой жизни коммунисты позволяли хлебать только абсолютно верноподданным.

Но однажды, ранней весной 1978 года, в жизни Рубинчика случилось событие, надлюмившее будничное течение его судьбы.

В тот вечер вместе с пьяной компанией приятелей-журналистов, отмечавшей день рождения всеобщего редакционного любимца фотокорреспондента Красильникова, Рубинчик колебился по ночной Москве в поисках водки. По русской традиции хорошей мужской компании всегда не хватает именно одной, последней, бутылки, а в пуритански-регламентированной столице СССР даже так называемые ночные бары закрывались в полночь. Единственным местом продажи спиртного после полуночи был бар в международном аэропорту Шереметьево.

Так в поисках водки Рубинчик и его друзья оказались в Шереметьево, и, пересекая полупустынный в ночное время зал аэровокзала, Рубинчик увидел слева в полутьме странное скопление плохо одетых людей с грудой дешевых фибровых чемоданов, баулов и ящиков. Даже во хмелю Рубинчик с профессиональной наблюдательностью отметил, что такая публика больше свойственна вокзалам глубинки Империи, какому-нибудь Иркутску или Бухаре, а не столичному международному аэропорту. Куда могут лететь эти люди, в какие Парижи?

– Как это куда? – изумилась его приятельница-журналистка. – В Израиль! Это же твои евреи...

*Твои евреи!* Не столько два этих слова, сколько интонация, с которой они были сказаны, хлестнули Рубинчика, как пощечина. И хотя его и эту журналистку связывали не только служебно-приятельские отношения, но и возбуждающие до озноба флюиды интима и флирта, Рубинчик грубо рванул ее за рукав модной меховой дубленки.

– Что ты сказала?

– А что я сказала? – изумленно струсила она. – Я сказала, что это евреи, которые летят в Израиль...

– Да ладно вам, перестаньте! – И друзья потянули их в глубину зала, к бару.

Но Рубинчик с пьяной резкостью вырвал свое плечо, хлестнул свою приятельницу грязным словом «с-с-сука!» и решительным шагом пошел к «своим евреям». Конечно, в этом еще не было ничего, кроме пьяного позерства перед русской компанией. Но по мере того как он приближался к той сотне людей, сидевших и лежавших на своих вещах и прямо на полу и отгороженных веревкой от остального, цивильного зала, какое-то давнее, напрочь забытое детское видение всплыло в его памяти – рывком, как всплывает из морской глубины мяч, освобожденный из прогнивших сетей.

И Рубинчик протрезвел разом, мгновенно.

Потому что именно так, как раскачивался сейчас в молитве этот седобородый и пейзажный старик с библейскими глазами и в засаленном бухарском халате, точно так раскачивался другой старик – давно, очень давно, в другой жизни. Еще секунду Рубинчик мысленно всматривался в того, из другой жизни, старика, не веря своей памяти и всей картине, которая вдруг возникла и прояснилась в нем, как проясниется изображение на включенном телеэкране. Но еще и до наступления полной резкости Рубинчик памятью сердца узнал старика. Это был его, Рубинчика, дедушка. Всю свою сознательную жизнь Рубинчик безуспешно пытался вспомнить или выяснить хоть что-то из своего додетдомовского детства. Но ему было всего два или три года, когда сумятица эвакуационной неразберихи подхватила его неизвестно где и потащила по детдома и пересыльным пунктам. И там, в санитарных и пассажирских вагонах, на каких-то переполненных детьми речных баржах, плывущих сквозь пожары, бомбежки и голодуху первого года войны, затерялось все – и документы (если они были), и довоенные воспоминания о семье и родителях. Конечно, как только у Рубинчика появилось редакционное удостоверение, он ринулся искать свое прошлое, пользуясь красной «корочкой» журналиста как паролем

«Сезам, откройся!». Но дальше записи 1949 года в архиве саратовского детдома идти ему было некуда, поскольку там значилось:

Данные, записанные со слов ребенка:

Имя – Лев

Имя отца – Михаил (неточно, возможно – Марк, Моисей)

Имя матери – Фира (неточно, возможно – Фрида)

Дата рождения – не помнит (по анатомическим данным – 1938–1939  
годы)

Место рождения – не помнит

Сведения о других родственниках – не помнит

Особые приметы: крайняя плоть пениса обрезана, на уровне правого подреберья пигментное пятно величиной с копеечную монету.

Данных о времени поступления в Саратовский детприемник № 42 не имеется.

Когда у Рубинчика появились свои дети, он наблюдал за каждым их шагом не только с естественным трепетом еврейского отца, но и со скрытым интересом исследователя. Он хотел по своим детям определить, в каком возрасте он мог не знать или забыть свой адрес, день рождения, имена родственников. Да и собственная фамилия – так ли прочно она держится в детской памяти? Или Рубинчик – это прозвище, которое кто-то прилепил ему, ребенку, за его еврейский нос?

Но кроме «обрезанной крайней плоти» и пигментного пятна на правом подреберье, у него не было никаких уверенных данных о своем происхождении. И все его детство и юность были отравлены возмущением: почему только за то, что кто-то отрезал ему, младенцу, кусочек плоти, он должен страдать? За что ему, мальчишке, пацаны мазали губы салом? За что его били до крови, звали «жиденком» и «пархатым», не приняли в детдомовскую футбольную команду?

Разве это он распял Христа?

Он не помнил своих родителей, но злился на них – зачем они так наказали его?

И вдруг – эта вспышка памяти в полумраке ночного Шереметьевского аэровокзала. Этот раскачивающийся библейский старик и рядом с ним – фибровые чемоданы. Да! Да! Боже мой, именно такие были тогда чемоданы! И точно так, как вот эта юная, круглолицая, с ямочками на щеках еврейка кормит грудью ребенка, точно так другая – молодая, красивая, родная – кормила тогда грудью кого-то. Господи, задохнулся Рубинчик, мама? Это же его мама – рядом с бабушкой, на чемодане! Но кого она кормит грудью? Его самого? Нет, не может быть! Он старше, он видит эту картину со стороны и снизу – маму на фибровом чемодане, с ребенком у груди, бабушку, раскачивающегося в молитве, а рядом еще какого-то высокого мальчика в серой кепке. Брата?

Задержав дыхание, замерев даже сердцем, Рубинчик стал всматриваться в этот мираж и осторожно расширять экран своей памяти. За раскачивающейся фигурой деда обозначился железнодорожный перрон с людьми, чемоданами, мешками. А над ними – высокое летнее небо с белыми облаками, похожими на летящих слонов, китов и лягушек. А из-за красивого облака кита неслышно вынырнули два сияющих крыльями самолетика и в стремительном, завораживающем пике стали спускаться – все ближе, ближе, ближе к перрону. Он, ребенок, радостно показал на них рукой, но кто-то – бабушка? мама? – тут же вскрикнул, закричал... А первый и такой красивый самолет уже обронил на перрон свистящую в полете бомбу...

Бомба проломила и взорвала дальний конец платформы. Но бабушка, мама и все остальные погибли не от взрыва этой бомбы и не от ее осколков. Теперь, тридцать семь лет спустя, Рубинчик снова увидел тех, кто уцелел после взрыва, и как их прошла пулеметная очередь второго самолета, который шел сразу за первым. Только бабушка, уже практически мертвый,

с окровавленной бородой, успел ползком дотащить его, малыша, до края перрона и столкнуть вниз, под бетонную платформу – за миг до второго пике «мессершмитта»...

Теперь, стоя в двух метрах от этих евреев-эмигрантов, Рубинчик вдруг почувствовал, как внутри него соединились два провода, разорванных временем. На том, утонувшем в прошлом конце провода были сороковые годы, бабушка, мама с младенцем, старший брат в серой кепке и толпа беженцев под огнем «мессершмитта». А на этом – еврей-эмигранты 1978 года с такими же фибровыми чемоданами и с той же, наверно, молитвой в устах старого бухарского еврея...

И мощная искра как судорога прошла по сознанию Льва Рубинчика. Он еще не знал, что это за искра, он еще не понял всего, что случилось с ним в эту минуту, потому что уже вернулись к нему его приятели с двумя бутылками водки и бутылкой шампанского и именинник Вовка Красильщиков обнял его за плечи и повел к машине.

Но и уходя с друзьями, Рубинчик все оглядывался на этот, в полумраке вокзала, еврейский табор, так похожий на роковой перрон его детства.

\* \* \*

Через два дня, среди ночи, Рубинчик проснулся от того, что во сне увидел свою Книгу. Седобородый старик, сразу похожий и на бухарского еврея с библейскими глазами, и на его, Рубинчика, бабушку, и на еще кого-то, неузнаваемого, держал в руках его будущую Книгу, листал ее, и Рубинчик даже во сне отчетливо ощутил все, что в этой книге было – будет! – написано.

Он проснулся и в ужасе подумал: «Как же я напишу эту Книгу, если я не уеду?» Даже думать об эмиграции нелепо – кому на Западе нужен журналист, не знающий никакого языка, кроме русского! А жена? Дочь ракетостроителя и в тридцать три года уже и.о. профессора Московской консерватории – да в ней еще меньше еврейства, чем в нем! Но даже если бы Неля и захотела эмигрировать, ее отец не выпустит их, не подпишет ей *«разрешение оставить родителей»* – иначе он тут же потеряет работу, все свои престижные регалии и должности! Нет, ни о какой эмиграции не может быть и речи! Не говоря уже о Танечке в Новосибирске с ее такой большой и теплой грудью, Катюше в Ижевске, Зое в Дудинке и Вареньке из Мытищинского городского суда – Вареньке, с которой, кажется, все приближается к сладостному роману. У себя в редакции и вообще в Москве Рубинчик не заводил романов, однако, стоило ему выехать в очередную командировку, стоило только сесть в самолет, как в нем просыпался какой-то мистический, хищный, веселый и мощный азарт охотника. Но не на всякую дичь, нет. В нем не было той всеядности и готовности трахнуть первую попавшуюся бабу, как это свойственно почти всем мужьям, вырвавшимся из постели пусть даже любимой, но уже такой знакомой жены. Ему не нужна была любая свежатица, и вообще дело было не в сексуальном голоде. Дело было в чем-то ином, чему он не мог да и не искал названия. Просто в тот момент, когда он садился в аэрофлотский автобус на Ленинградском проспекте, чтобы ехать в аэропорт Домодедово или Быково, мощный выброс адреналина в кровь каким-то странным образом перегруппировывал улежавшиеся на своих московских орбитах атомы и электроны его тела, вздрючивал их, расщеплял в них новые киловатты энергии, распрямлял Рубинчику плечи, менял посадку головы, прибавлял раскованности и остроумия и наполнял его взгляд самоуверенной дерзостью. И с этой минуты начиналась охота.

Огромная страна лежала перед ним, и он чувствовал себя как инопланетянин при высадке на новую планету или как всадник из орды Чингисхана перед вторжением в Сибирь. Однако среди авиапассажиров, а точнее, среди авиапассажирок Рубинчику почти никогда не попадалось то, что он искал. И не потому, что среди них не было красивых женщин. Были. И если они встречались, он легко находил предлог для дорожного флирта, который при удач-

ном стечении обстоятельств (скажем, совпадении места командировки) мог завершиться блиц-романом в гостиничном номере.

И все-таки не этот тип женщин интересовал Рубинчика во время его вольной охоты. Опытный путешественник, которому приходилось ездить в командировки по два-три раза в месяц, он знал, что не только он на охоте и «в полевых условиях». Отрываясь от своих домов, семей, матерей, мужей, любовников и работы или учебы, отлетая или уезжая от ежедневной рутины, миллионы женщин, которые летели в самолетах, плыли на теплоходах и катили в поездах по железным дорогам этой гигантской страны, тоже ослабляли стягивающий их дома каркас самоограничений и тоже искали чего-то нового, свежего, дорожно-романтического и неподконтрольного. И та, кто еще вчера в Ростове, Харькове или Ленинграде была «синим чулком», недоступным комсомольским боссом, истовой аспиранткой, холодной жрицей науки или верной женой, в дороге могла легко, вдруг, даже к своему собственному полуизумлению, проснуться не в своем гостиничном номере, на узкой полке не своего купе или даже просто на траве привокзального парка, куда она пошла со случайным попутчиком «подышать воздухом» между посадкой и взлетом.

Но строго говоря, все это было даже не дорожным приключением, а дорожным блядством.

Рубинчик не брезговал им при случае, особенно если попадалась хорошая фигурка. Но он относился к этому мимолетному сексу как к разминке перед главной охотой, как к тому, что на Западе называют *appetiser*, – закуске, возбуждающей аппетит к основному блюду.

Потому что те, кого он искал, не летали в командировки, не плыли на речных теплоходах и не ехали в мягких или купированных вагонах поездов дальнего следования. Тот тип женщин, которых искал и за которыми охотился Рубинчик, даже невозможно втиснуть в такие расхожие категории, как командированные или, скажем, блондинки. Не эти качества определяли его поиск. Да он и сам не мог точно сказать, что же он ищет. Но каждый раз, когда где-нибудь в сибирской, вятской или мурманской глуши, в рабочем поселке лесорубов, или в конторе какого-нибудь геологического треста, или в итээровском общежитии его ищущий взгляд наткнулся наконец на ту, которая заставляла замереть его охотничье сердце, он обнаруживал, что и эта, новая, роднится со всеми предыдущими одним неизменным качеством.

Это всегда были *русские* женщины с вытянутым станом, затаенно печальными серыми или синими глазами и тем удлинненным лицом, высокими надбровными дугами и тонкой прозрачной кожей, которых можно увидеть в Эрмитаже на картинах Рокотова, Левицкого и Боровиковского.

Конечно, Рубинчик почти никогда не находил копию княгини Шуйской или Лопухиной, хотя и эти образцы не передают в точности тот идеал, который по необъяснимой причине жил в еврейском подсознании Рубинчика. Но если объединить лик иконной Богоматери Владимирской с глазами какой-нибудь древнерусской или норвежской воительницы-княжны или хотя бы с суровой жертвенностью в глазах женских портретов Петрова-Водкина, то, может быть, это будет близко к тому идеалу, *иметь* который было для Рубинчика навязчивым и почти маниакальным вождением.

Такие женские типы еще можно встретить в глубокой русской провинции, хотя все реже и реже. Косметика, мода в одежде и в прическах, кровосмешительство, прокатившееся по русской породе волнами татаро-монгольского ига, турецким пленом, польским и французским вторжением, беспутством собственных бояр, немецкой оккупацией, раскулачиванием, подсоветской миграцией и современным массовым алкоголизмом, – все это замутило, испортило и растворило нордическую, но оригинально смягченную в половецких кровях красоту русских женщин, которая еще несколько веков назад настолько пленяла всех без исключения европейских монархов, что они вели русских невест к свадебным алтарям и сажали рядом с собой на престолы в Англии, Норвегии, Франции, Венгрии – да по всей Европе!

Теперь, в наше время, стандарт русской красоты сместился к копированию на русский манер западных кинокрасоток, и только очень редко, случайно, как выигрышное сочетание цифр в лотерейном билете, судьба вдруг сводит в одном материнском лоне старый и утраченный в веках набор хромосом. И тогда где-нибудь в провинциальной глуши Сибири, Пензы или Мытищ тихо, в заурядной семье растет, сама того не зная, юная копия былинной Ярославны, сказочной Василисы или скифской Ольги. По неосознанной для себя и странной для окружающих причине она сторонится гулевых подруг, заводских танцулес с обязательным лапаньем фиксативными сверстниками за грудь и за все прочие места, ранней дефлорации в кустах районного парка культуры и модного пристрастия пятнадцатилетних к вину, сигаретам и похабелам в разговоре. К шестнадцати годам она уже безнадежно «отстала» от своих подруг, она отдалается от них в уединенную и тревожащую родителей мечтательность, чтение книг, вязанье и учебу в каком-нибудь техникуме, а в 22 года ее, как «старую деву», почти насильно выдают замуж. И, так и не отличенный от других простолюдинок, этот тайный цветок русской расы быстро увядает женой какого-нибудь прапорщика в глухом военном городке, грубеет с мужем-алкоголиком, среди детей, грязного белья и стервозности заводской «хрущобы» или хиреет сам по себе от неясной и нереализованной своей предназначенности – хиреет до беспросветной русской меланхолии, панели Курского вокзала и женской тюрьмы.

Но Рубинчику было достаточно одного взгляда, чтобы среди тысяч женских лиц, которые встречались ему в дороге, в рабочих поселках, деревнях, на заводах и в геологических партиях, выделить и опознать ту, в которой первозданная, исконная русость еще не была заштрихована провинциальным бытом, или изгажена поселковым блядством, или замордована мужем-алкоголиком. И когда это случалось, когда он – наконец! – наткнулся на то, что он сам называл про себя «иконная княжна», все замирало в нем на миг – пульс, мысли, дыхание. Это длилось недолго – долю секунды, но он ощущал это как инфаркт. А затем сердце спохватывалось и швыряло по ослабевшим венам такое количество жаркой крови, что желание *иметь* эту древнерусскую красоту пронизывало Рубинчику не только низ живота, пах, гениталии и ноги, но даже волосы на груди. Все в нем вздымалось, вставало, как монгольский всадник в стремях и как шерсть на звере, узревшем добычу.

Поразительно, что *эти* его избранницы никогда не оказывали ему сопротивления и даже не требовали предварительного флирта, длительного обольщения или хотя бы ужина в ресторане на манер московских женщин. Что-то иное, какой-то неизвестный и не переводимый на слова способ общения возникал между Рубинчиком и такой «иконной дивой», возникал сразу, в тот первый момент, когда глаза их встречались. Такое же чувство мгновенного внеречевого общения Рубинчик испытал однажды в тайге при случайной встрече с важенькой – юной оленихой, повернувшей к нему голову на таежной тропе. Они замерли оба – и Рубинчик, и важенька. Пять метров отделяли их друг от друга, ровно пять метров, не больше, и они смотрели друг другу в глаза – в упор и со спокойным вниманием. Рубинчик даже затылком почувствовал, как важенька, вглядываясь в него, *постигает* его своими огромными темными глазами, влажными, как свежий каштан. Он собрал всю свою волю, чтобы тоже проникнуть в глаза и душу этого грациозного и нежного зверя, застывшего на высоких и тонких ногах. И ему показалось, что – да, есть контакт! Там, за влажной роговицей этих сливopodobных глаз, он ощущает нечто широкое, темное, теплое и густое, как кровь, которое только ждет его знака, чтобы впустить его еще глубже, дальше или просто пойти за ним по таежной тропе. Казалось, сделай он правильный жест или знак – и важенька шагнет к нему, мягко и доверчиво ткнется губами в шею и станет покорной рабыней, невестой, лесной любовницей.

Но там, в тайге, он не знал секретного знака, которого так терпеливо и долго – может быть, целых пять или даже семь минут – ждала от него таежная красотка. И от досады вздохнул, сделал какое-то мелкое движение не то рукой, не то кадыком на шее – и в тот же миг

важенка нырнула в еловую чашу, рапидно перебирая в полуполете своими тонкими ногами лесной балерины и презрительно задрав коротенький упругий хвостик.

Оставшись на тропе, Рубинчик почувствовал себя неотесанным мужланом на балу жизни, отвергнутым таежной принцессой за незнание лесной мазурки.

Однако здесь, среди людей, Рубинчику не нужны были ни секретные коды, ни магические жесты, ни слова. Как одним-единственным взглядом он узревал русскую диву в жутком коконе ее нелепого провинциального платья, толстых трикотажных колготках и резиновых ботах, так и эта дива сама, с первого взгляда опознавала его каким-то иным, до сей минуты даже ей самой неизвестным подсознанием и какой-то другой, *генной*, памятью, и широкая, просторная глубина, густая и теплая, как кровь, открывалась перед Рубинчиком в ее глазах.

Конечно, он знакомился с девушкой, говорил какие-то дежурные слова, но ясно видел, что она только слушает его голос и вместе с этим голосом вбирает в себя его самого, пьет его, как наркотик...

Рубинчик никогда не мог объяснить себе этого эффекта. То есть почему его самого влекло к русским женщинам – этому можно найти тысячу резонансов: от воспитания на русской культуре до комплекса ущемленного в правах маленького еврея в море славянского антисемитизма. Но что они – древнерусские княжны, половецкие принцессы, донские Ярославны и онежские Василисы – видели в нем, невысоком еврее с жесткой черной шевелюрой, крупным еврейским носом, маленькими карими глазами и густой шерстью, выбивающейся из открытого треугольника воротника апаш? Почему после нескольких малозначительных слов знакомства они покорно, как замороженные важеньки, сами приходили к нему в гостиничный номер – открыто! на глазах у всего своего города или поселка! – и словно даже не видя, какими глазами смотрят на них гостиничные администраторши и дежурные по этажу?

Этого Рубинчик никогда не понимал и каждый раз, когда такое случалось, был уверен, что на этот раз наверняка ошибся и кадрил простую провинциальную *давалку*. Но когда очередная Таня или Алена уходила по его приказу в душ и возвращалась оттуда босиком и завернутая в потертое гостиничное полотенце, он сразу видел, что здесь не пахнет не только блядством, но вообще каким-нибудь сексуальным опытом. В ее походке, фигуре, вытянутой шее и в глазах было нечто рапидное, замороженное и мистически покорное его воле, слову, жесту, мысли, а самое главное – его вожделению. И, медленно открывая это гостиничное полотенце, прикрывающее ее тонкое белое тело, грудь и еще невыпуклые бледные крохотные соски, Рубинчик уже видел, что да, он не ошибся и на этот раз: она – девственница.

Он совращал их, конечно. Но только если понимать под совращением дефлорацию, и ничего, кроме этого чисто медицинского акта. Потому что во всех остальных значениях этого слова – лишить женской чести, сбить с правильного пути, – то какое тут к черту совращение! Он не *трахал* их и не *ломал целку*. А проводил их по узкому мостику от девичества в женственность – проводил с почти отцовской осторожностью, терпеливостью и нежностью, а затем приобщал их к истинной и высокой женской чести быть в постели не расщепленным надвое поленом, а Жрицей.

Так в ночном тумане опытный бакенщик сначала одной интуицией находит темный буюк маяка, потом на ощупь разбирает фонарь, доликает масло, заправляет фитиль, зажигает, наконец, огонь, и вдруг – свет этого маяка слепит глаза ему самому.

Свет истинной женственности, который Рубинчик зажигал в такую ночь где-нибудь в Ижевске, Вологде или Игарке, был подобен возвращению к жизни старинной иконы, когда после осторожной и трепетной расчистки на вас вдруг вспыхнут из глубины веков живые и магические глаза.

Этот миг Рубинчик готовил особенно тщательно и даже церемониально. В стране, где сексуальное образование предоставлено темным подъездам, похабным анекдотам и настенным рисункам в общественных туалетах, где нет ни одной книги на тему о том, КАК ЭТО ДЕЛА-

ЕТСЯ, и где даже слово «гинеколог» стесняются произнести вслух, – в этой стране миллионы юных женщин знают о сексе не больше, чем их домашние животные. Лечь на спину, раздвинуть ноги и *поддать* – вот все, чему учат своих невест и что требуют от своих жен девяносто процентов русских мужчин. Нужно ли удивляться массовой фригидности русских женщин?

В море беспроблемного сексуального невежества Рубинчик зажигал святые лампы чувственности и первый наслаждался их трепетным пламенем.

– Сейчас, дорогая. Не спеши и не бойся. Забудь все, что тебе говорили об этом подруги, и забудь все грязные слова, которые пишут про это в подъездах. Мы сделаем это совершенно иначе. Так, чтобы ты помнила об этом всю жизнь как о самом святом дне своей жизни, как о рождественском празднике. Сделай глоток шампанского. Вот так. И еще глоток. И еще. А теперь дай твои губы. Нет, не так. Впусти мой язык и слушай свое тело. Забудь обо мне и слушай только себя...

Черт возьми, они даже целоваться не умели как следует! Их соски не умели откликаться на прикосновение мужских губ, их руки боялись опуститься к мужскому паху, их ноги сводило судорогой предубеждения, и даже когда они сами, опережая его просьбу, делали над собой волевое усилие и разжимали свои ноги в ту позу готовности, которую многократно видели на похабных рисунках в школьных туалетах, – даже тогда это были всего лишь мертвые ноги со слипшимися между ними холодными, сухими и омертвевшими от страха нижними губами.

Но Рубинчик был терпелив, неспешен и виртуозен.

– Спокойно. При чем тут ноги? То, что войдет туда, – не сейчас, потом, позже, – ты должна полюбить это, породниться с ним. Смотри на него. Не стесняйся. Возьми его в руки. Только не дави так и не сжимай. Нежней. Вот так. Ты знаешь, почему купола всех церквей и мечетей именно такой формы? Потому что это вершина божественной гармонии! Посмотри внимательно, погладь, не бойся. Разве его головка не похожа на сердце? А теперь приложи его к своей груди – сама. Да, милая, так, только еще нежней. Ты чувствуешь? Твой сосок оживает, растет ему навстречу, и твоя грудь твердеет. Ты чувствуешь? Господи, как стучит твое сердце! А теперь – тихо, не двигайся. Только слушай своей кожей его движение по тебе. Ты видишь эту ночь за окном? Это не звезды, нет. Это решето вечности. Девятнадцать лет твоей жизни утекли через это решето навсегда. Их нет. Они истаяли в космосе. Что осталось от них в тебе? Ничего. Потому что ты не жила еще. Ты дышала – да. Ты ела, пила, что-то учила. Су-ществ-во-ва-ла. И только. А сейчас ты начинаешь жить. После этой ночи ни одна твоя ночь уже не утечет от тебя в никуда. Они будут все твои. Ты слышишь – твое тело наполняется солнечной силой. От каждого моего прикосновения к тебе этим ключом жизни твоя грудь просыпается. И соски пробуждаются. И спина... И живот...

Он не шел ниже. Даже когда ее спина уже изгибалась аркой навстречу ему, и ее живот начинал пульсировать от первых приливов желания, и тяжелело дыхание, и губы открывались – он не спешил к ее лобку, а уж тем паче – к ее расщелине. Наоборот, он отнимал свой ключ жизни от ее тела и нес его к ее губам. Это был один из самых критических моментов операции. Возвращенные в невежественно-брезгливом пуританстве, все сто процентов юных русских женщин считают мужской половой орган таким же *грязным*, как их общественные туалеты. Прикоснуться к нему, а уж тем более взять его в рот кажется им невыносимым унижением. Ведь хуже нет в России ругательства, чем сказать женщине «е... в рот!» И такое же презрительное отвращение испытывает русский мужчина к женскому влагалищу. Даже если когда-нибудь в неизвестном будущем, может быть, двадцать первом веке, в России будут делать эротические или порнофильмы, невозможно себе представить, чтобы и в таком фильме русский мужчина поцеловал женщину меж ее ног. Не говоря уже о большем...

Но Рубинчик легко ломал этот дикий российский предрассудок. Он возносил свой гордый ключ жизни, напряженный и увитый набухшими венами, возносил его по груди своей

наложницы к ее ключице, потом к подбородку, щекам и губам – возносил медленно и торжественно, как приз, как божественный символ...

Чаще всего они в ужасе закрывали глаза. Он не настаивал, нет.

Он опускал свое тело вниз, вдоль ее вытянутого на кровати тела, и останавливался так, чтобы его глаза оказались напротив ее глаз. И тогда он брал ее лицо двумя руками и говорил тихо и нежно:

– Посмотри на меня!

Она открывала глаза. И всегда в них было одно и то же выражение, которое даже он, профессиональный журналист, не мог передать словами. Покорность выполнить все, что он прикажет, готовность впустить его в теплую глубину своей души и тела и тайный ужас перед тем, как это произойдет. Нет, и еще что-то – нечто более древнее, какой-то иной мистический ужас подневольной и замороженной жертвы...

Но Рубинчику было некогда, да он и не пытался расшифровать этот тайный язык страха. Он давал им читать себя. Он давал им заглянуть в свою душу и расшифровывал себя простыми русскими словами:

– Это не стыдно, милая. Нет ничего стыдного в нашем теле. Ни в твоём, ни в моём. Все сделано Богом из одной крови и одной плоти. И все одинаково прекрасно на вкус. Смотри...

И он начинал целовать ее тело сверху вниз, медленно спускаясь губами и языком по ее груди и животу, все ниже и ниже, к тонким завиткам ее пуха на лобке. А затем он мягким, но властным движением ладоней разводил ее колени, раздвигал подбородком небольшую и спутанную рощу и трогал губами ее еще сухие и сомкнутые нижние губы.

Одно это прикосновение вызывало шок. Не сексуальный, нет – культурный. Пытаясь избавиться его от ненужного унижения, они всегда в этот миг хватали ладонями его голову и пытались отстранить, вынуть ее оттуда.

Он перехватывал их руки своими руками и сжимал изо всех сил, запрещая им любое движение.

Конечно, он знал, что они дадут ему и без этого.

Он мог в любую минуту просто разломить локтями их согнутые в коленях ноги и войти в их тело резко, одним ударом прорвав сухоту их девственных губ, судорожно сжатые мускулы устья и тонкую пленку там, внутри. Собственно говоря, в силу своего невежества они ничего иного от него и не ждали, хотя именно это они могли получить в любой подворотне без всякого Рубинчика.

Но ведь не в этом же была его миссия и магия этой ночи! Учитель, Первый Мужчина, Просветитель, Наставник – даже эти простые титулы наполняли его сексуальное вожеление еще одним качеством, еще одной гранью изыска.

И, сжав своими руками запястья тонких женских рук, он продолжал нежно, в одно касание целовать еще сухие и спящие губы девичьего бутона. Этот бутон всегда напоминал ему заспавшегося ребенка, навернувшего на себя теплое байковое одеяло. Это одеяло Рубинчику предстояло развернуть языком и губами, и он приступал к этому процессу с тем ликованием, с каким его сын Борис разворачивал обертку шоколадной конфеты.

Медленно, томительно медленно Рубинчик несколько раз проводил языком вдоль всего бугорка, потом заострял свой язык и этим влажным и теплым острием тихо раздвигал начинающие оживать лепестки. Он знал, что в ее подсознании ее маленький орган начинал увеличиваться, гипертрофироваться, вырастать до гигантских размеров. По силе вожеления это было несопоставимо с любым ее ночным девичьим томлением или безотчетными позывами ее юного тела к мастурбации. Сейчас в ее разгоряченном уме ее маленькая лагуна превращалась в отдельное тело, в жадного зверя и в один гигантский рот, алкающий новых прикосновений, поцелуев, ласк, слюны. Так пустыня, высохшая от многолетней засухи, корчится от жажды и

нетерпеливо открывает свои пересохшие поры первым же тучам, наплывающим к ней с горизонта.

Но в тот момент, когда его язык и губы начинали ощущать увлажнение ее нижних губ и нащупывали вверху их складок крохотный узелок-жемчужину, Рубинчик останавливал себя. Теперь, когда он своим примером сломил первый барьер – барьер отношения к половому органу как к чему-то грязному и стыдному, что немислимо тронуть губами, – Рубинчик снова возносил свой ключ жизни к ее лицу. И еще не было случая, чтобы на этот раз она отвергла его, сомкнула губы или отвернулась. Наоборот, схватив его двумя руками, как пионерский горн, она сама погружала его в свой рот, как бы демонстрируя Рубинчику, что урок усвоен, что можно идти дальше, дальше...

Но он и тут не давал волю девичьему самоуправству и самодеятельности. Он отнимал свой волшебный ключ жизни от ее губ и приказывал жестким тоном хозяина:

– Сначала лизать!

Да, теперь он не выбирал выражений. Они должны усвоить терминологию вместе с процессом.

– Лизать от корня! Да, там! Только медленно, не спеша! И играть языком! Лизать и играть языком, как на флейте! Вот так, да!

Он знал, что в ее подсознании ее нижние и верхние губы уже соединились в единого монстра, жадного и способного засосать все его тело и душу, но еще дальше, на периферии ее сознания, все равно бьется, замирая от ужаса и ликования, последняя нетерпеливая мысль: «Ну когда же? Когда? Я сделаю все, что прикажешь, только быстрее сделай то, главное!» И даже не мыслью это было в них, а сутью и главной задачей их пребывания на земле – стать Женщиной. Да, да! – Бог посылает в мир мальчишек, награждая их призванием стать воинами или поэтами, учеными или аквалангистами, ковбоями или архитекторами. Только на этом пути мальчишка становится мужчиной. Но главное вопреки всем их профессиям призвание женщины – стать Женщиной. Это записано в их генетическом коде, в подкорке их мозга и в каждой клетке их тела. *Дары Господни неотторжимы!*

Однако Рубинчик оттягивал этот главный миг. Эта оттяжка стоила ему здоровья, поскольку он должен был усилием воли укротить бушующее в его гениталиях давление и удержать свою сперму от выброса. Но он шел на эту пытку сознательно, как на жертву ради возвышенной цели. Он приказывал себе отключиться, терпеть, ждать!

– А теперь, детка, убрать зубы и принять глубоко, еще глубже! И – сосать!

Да, он владел ситуацией. Ее сознание смято жаждой соития, и она уже отдалась этому потоку, поплыла, ее крутит вожеление, и она получает кайф от всего – от сосания, от того, что держит в руках этот ключ жизни, и даже от того, что дышит запахом паха! Теперь, и не видя ее в темноте, он ощущал, что ее язык и губы выполняют его приказ не из страха, не вынужденно, а с ликованием! Так начинающий музыкант, который подневольно, по принуждению родителей выучил первую мелодию, вдруг начинает испытывать удовольствие от своей игры – ликуя и гордясь, он играет ее снова и снова, все громче, быстрее, артистичней, выделяя нюансы, переходы, окраску тембром...

Восторженная беглость языка и губ его новой ученицы, жадное, захлебывающееся упоение от погружения его плоти в ее влажный рот говорили Рубинчику, что – все, это состоялось, чувственность проснулась в этом сосуде, женщина родилась в нескладном ребенке, самка ожила в девственном теле, огонь возгорелся в лампаде.

А теперь – к делу!

Он погружал свою руку в меховую опушку ее нижних губ и начинал готовить плацдарм. Двумя пальцами – указательным и безымянным – он раздвигал и раздвигал ее волосы, укладывал их по обе стороны щели и убирал от центра даже малый волосок. А средним пальцем нежно касался клитора, только касался – дразня. Потом начиналось раздвижение губ – их уже

влажных, как свежие моллюски, створок. И когда ее ноги уже сами, в диком позыве упирались ступнями в матрац и аркой вздымали ее тело навстречу его пальцам, а ее рот, и губы, и язык уже не просто лизали и сосали, а сжирали его, захлебываясь собственной слюной, – в этот момент Рубинчик другой рукой дотягивался до ночника и включал свет. Нет, она не реагировала на это, она даже не видела этого света. Потому что жила уже не в мире наружного сознания, а, как морская медуза, только внутри себя – своей чувственностью и своей жадой соития.

Но Рубинчик не знал пощады. Он возвращал свою ученицу в реальный мир, отнимая от ее губ свой горделивый ключ жизни и поднося к ним новый бокал шампанского. Она открывала глаза, и дикие, шальные, ничего не видящие зрачки выкатывались к нему из-под надбровных дуг, выкатывались, словно из другого мира, и смотрели на него с вопросом, мольбой и нетерпением.

– Сейчас ты станешь женщиной. Сейчас, – успокаивал он. – Просто я хочу, чтоб ты видела это своими глазами. Выпей вина...

Ее тело еще пульсировало внизу, под его пальцами, но она послушно делала один или два судорожных глотка шампанского, а потом откидывалась головой на подушку, готовая на все и даже, наверно, досадуя на него за то, что он *уже* не сделал это – пока она была там, по другую черту, за пределами сознания.

Но Рубинчик не жалел о такой упущенной возможности. Женщина в постели, как хорошая проза, требует неспешности. А мужчина именно в сексе приближается к истинному творчеству-сотворению Жизни.

Рубинчик извлекал подушку из-под головы своей юной ученицы, подкладывал под ее ягодицы и начинал языком вылизывать ее ушные раковины. Это тут же возвращало ее в прежнюю пучину вожделения, в самый круговорот чувственности.

И тогда он возносил над ее открытыми и горячими чреслами свое темное от застоявшейся крови и напряженное до дрожи копьё и медленно, снова медленно, крошечными ступенями начинал погружать его в узкую, влажную, розовую расщелину, с каждым шажком все раздвигая и раздвигая нежно-мускулистое устье – до тех пор, пока не упирался в неясную, слепую преграду.

Это был милый его душе момент.

Теперь он извлекал свое копьё на всю его длину, до пика головки, отжимался на руках и смотрел на распростертое перед ним тело.

Так всадник поднимается в стременах, чтобы вложить в удар копьё весь свой вес и всю силу размаха.

Бесконечная белая река женской плоти струилась под ним на гостиничной кровати. Двумя скифскими курганами вздымалась на этой реке грудь с темными маяками островерхих сосков. Две распахнутые руки отлетали бессильными потоками. Длинная половецкая шея тянулась к подбородку запрокинутой головы. А за ней, дальше падал с кровати безвольный водопад густых русых тонких волос.

Рубинчик смотрел на это тело с нежностью, с умилением, с любовью. Здесь была его родина, его Россия. Теперь она принадлежала ему вся – со своими реками, лесами и птицами, поющими в ее туманных садах. Со своей хрупкой гортанью, потемневшими сосками белой груди, трепетной впадиной живота и доверчиво распахнутыми объятиями чресел.

Он делал глубокий вздох и без излишней резкости, но мощно и решительно входил в это родное и прекрасное тело.

Тепло ее крови, тихий стон, слезы боли и кайфа, первая несказанная истома от поглощения его плоти и сжатия ее крепкими девственными мускулами, и почти тут же, через минуту бешеные конвульсии ее тела. Наконец это тело дождалось главного, зачем росло и зрело все годы своей юной жизни! Оно дождалось *соития* с мужской плотью и там, в глубине, салютовало теперь приходу этой плоти фейерверками и гейзерами нежности и влаги, собранной за всю

предыдущую жизнь. Ощущение этих горячих и бурных фонтанов защемляло душу Рубинчика божественным, неземным наслаждением. Тонкие руки обнимали его шею и благодарно сжимали до судороги, не давая шевельнуться; ее губы впивались в его губы до боли; ее ноги замком обхватывали его ноги, а ее трепещущий лобок следовал за его пахом, не позволяя ему вынуть себя из ее глубин даже на микрон и нарушить тем самым этот обвал, это извержение ее соков.

Так капкан зажимает свою живую добычу, так ножны обхватывают смертельно-живительный клинок.

В этот миг Рубинчик всегда завидовал им. Какие космические ливни сотрясают их плоть! Какие молнии пронизывают! В какие пропасти падают они в момент оргазма! Он видел и понимал, что ни один мужчина, даже самый сладострастный, не может испытать и десятой доли тех божественных мук наслаждения, которые приходят в такие минуты к женщинам. Но он испытывал гордость и радость быть курьером, доставщиком этого Божьего дара, который он держал сейчас в женском теле на копье своей плоти. Бог послал им дикие муки родовых схваток, неведомые мужчинам, и Бог – через него, Рубинчика! – возмещал им за эти муки такой силой наслаждения, которую не дано испытать мужским особям.

Рубинчик получал радость дарить наслаждение, он чувствовал себя в это время Всевластным Богом и старался продлить свое пребывание в этой роли так долго, как только мог. Он не знал, как больно рожала его мать, но она ушла из жизни так рано, что наверняка недополучила это простое природное счастье быть Женщиной, и Рубинчик вкладывал все свои силы, всю свою выдержку и талант в искусство дарения экстаза другим женщинам – пока они живы. Детские впечатления времен войны сделали для него смерть не абстрактным будущим, а такой же реальной, ежеминутной возможностью, как и постельное наслаждение. Они приближались друг к другу, они почти смыкались – не зря в момент оргазма все живое, от человека до лесного зверя, испытывает странную, захватывающую, кружащую голову близость смерти. Эту радость-смерть может дать только Бог, но мужчина может подвести женщину почти вплотную к этой роковой и восхитительной пропасти.

Ради продления своей роли заместителя Бога, ради удержания накала вождения на пике напряжения Рубинчик умудрялся даже в самые святые и сладостные минуты *первовхождения* не терять голову и извлечь свое орудие из замка женской плоти – извлечь на микрон. Извлечь и вставить...

Выйти и войти...

Сначала – на чуть-чуть...

А потом – чуть больше...

А потом – еще шире, мощней...

Иноходью...

Рысью...

И – наконец – вскачь!!! До хрипа! До крика!

Как копыта, стучали пружины кровати!

Белое тело половецкой невольницы выло по-волчьи, но уже не от боли, нет! Она уже не ощущала боли, потому что пламя ее вождения работало как наркоз, как веселящий газ. В живом синхрофазотроне ее пульсирующего тела их русско-еврейская, метафизическая, духовно-плотская и чувственно-эротическая полярность разряжалась бурными стихийными потоками сексуальной энергии и поила их обоих новым томлением и дикой жадой нового соединения.

Рубинчик скручивал тело своей ученицы в кольцо и в спираль, он выламывал и разрывал ей ноги до шпагата – она доверяла ему во всем, слушалась каждого его приказа и была уже той ученицей, которая сама тянет руку, чтобы ее вызвали к доске. Сатанея от экстаза, она уже сама

перехватывала инициативу, ускоряла ритм все больше и больше, билась головой из стороны в сторону, хлестала воздух гривой волос, хватала руками спинку кровати, скрипела зубами, истекала слезами восторга, извергалась жаркими и клейкими потоками влаги, опадала и снова взлетала аркадой, и ее рот находил и обсасывал его пальцы, кусая их острыми звериными укусами, а ее ноги взлетали на его ягодицы, спину, плечи.

После каждого ее оргазма, когда она, обмирая, падала и затихала на несколько мгновений на его груди, Рубинчик чувствовал себя Рихтером или Паганини, который только что блистательно сыграл сложнейшую симфонию. В ночной сибирской тишине ему даже слышались беззвучные аплодисменты ангелов и крики «бис!». И он не вредничал и не заставлял себя долго просить, а, тихо шевельнув своими чреслами, играл на «бис» – сначала в миноре, но уже через минуту переходя к мощным мажорным аккордам и к настоящему крещендо.

Позже, перед тем как отпустить *себя*, Рубинчик, из последних сил контролируя ситуацию, снова отжимался на своих волосатых руках и с нежной улыбкой смотрел на новорожденную русскую Женщину. Он гордился собой. Пожар чувственности уже пылал в этом камине на полную мощь, без его помощи. Этот пожар выламывал ее тело до хруста и выбрасывал из него жаркие протуберанцы страсти. Не в силах дотянуться до губ Рубинчика, она лизала языком волосы на его груди, прикусывала зубами его плечи и вонзала свои ногти в его спину и голову.

Он смотрел на нее и знал, что теперь, после того как он кончит первый раз, ему не придется долго ждать второго захода – эта половчанка возбудит его своей нетерпеливой нежностью и робкой стыдливостью новой наложницы. Она сделает все, что он повелит. И она будет выполнять его приказы не из мистической завороченности, как вначале, а с ликованием новообращенной служительницы Бога. Да, лежа под ним на спине, на боку, на животе, на локтях и коленях или взлетая над ним скифской амазонкой, она, русская Ярославна или Василиса, будет всегда видеть в нем Бога. В нем, в Рубинчике.

А к утру, когда она истечет, как ей будет казаться, уже абсолютно всеми соками своего тела и когда ее кожа станет прозрачной, а тело – невесомым и падающим в свободном, как в космосе, падении – в это время при рассветной прохладе, вползающей в просветлевшее окно, она даже в самых затаенных уголках своего сознания будет молиться на него и нежить в себе его образ, как в XII веке женщины молились чувственно-эротическому культу Христа. И тогда он опустит ее доверчиво-послушное тело на пол, поставит ее на локти и на колени и с помощью вазелина одним мощным ударом войдет в ту крохотную и почти не расширяющуюся щель, которая обожмет его копьё до нового зажима дыхания и души. Вскрик ужаса, клекот слез, дикие рывки ее тела, стремящегося сбросить раздирающую боль, попытки уползти из-под него, вырваться, освободиться, а потом, когда он вонзит ей в рот свои пальцы и почти до боли оттянет ей челюсть, – тихое постанывание, скулеж и покорный плач, а сквозь него медленное, очень медленное, но уже через минуту все ускоряющееся повиливание ягодицами. Быстрой и быстрой...

иноходью... рысью...  
и – наконец – вскачь! До хрипа,  
до воя,  
до крика! До проникновения его копьё в ее позвоночник,  
И – кажется – еще дальше: в грудь, в легкие, в горло!  
И на исходе – до дикого, сумасшедшего, разнузданного и  
синхронного у обоих оргазма...  
В свете сиреневого русского рассвета  
Пустое, мертвое тело  
Рухнет под ним на пол,  
Влажное от пота,

Мокрое от спермы  
И бездыханное от такого счастья.  
Он сядет на пол к ее лицу,  
Он поднимет ее легкую голову на свои колени  
И будет гладить ее тонкие русые волосы.  
А она, бессильная и безмолвная,  
Даже не открывая своих серых половецких глаз,  
Станет тихо вылизывать его опавшую плоть,  
Отлетая в сон, в забытье, в детство,  
Где такими же тихими сытыми губами  
Она подбирала, перед тем как уснуть,  
Последние капли молока из соска своей матери...

...Ради этого, ради возможности летать по всей стране в такие командировки стоило быть даже советским журналистом. Ну в каких израилях или америках он найдет таких трепетно-доверчивых русских любовниц? Нигде, конечно!..

Однако теперь, мартовской ночью 78-го года, лежа возле спокойно спящей жены, возле ее теплого и расслабленного во сне тела, Рубинчик с холодным бессилием понимал, что несколько минут назад, до воспоминаний об этих командировках, он видел во сне свою единственную, свою *заветицу* Книгу. Библейский старик, похожий сразу и на его дедушку, и на бухарского еврея в Шереметьевском аэропорту, и на еще кого-то, неузнанного, показывал ему эту Книгу. Книгу, которую кто-то обязательно напишет и которая будет построена, как солженицынский «АРХИПЕЛАГ». Глава первая – «ИЗГНАНИЕ»: как волна антисемитизма и слухи о том, что «либерального» Брежнева вот-вот сменят отпетые антисемиты Кулаков и Романов, как все это выталкивает, торопит евреев к отъезду в эмиграцию. Глава вторая – «ВЫЗОВ»: кто, как и по каким каналам запрашивает официальный вызов-приглашение из Израиля от своих мнимых или подлинных родственников. Третья глава – «ПОДАЧА»: как люди решаются перейти Рубикон – обращаются к властям за разрешением на эмиграцию и тут же, автоматически, становятся изгоями и «предателями Родины» – теряют работу, ученые степени, награды и даже пенсии. Глава четвертая – «ОЖИДАНИЕ»: как они месяцами ждут решения своей судьбы – без работы и без друзей, которые теперь избегают их. Никто не знает, когда получит ответ – через три месяца или через год, и никто не знает, будет ли этот ответ положительным. А в случае отказа...

– Нет, к черту! – сказал себе Рубинчик. С этими мыслями невозможно лежать возле теплой жены! Оказывается, все, что последние шесть лет он вскользь, мельком или краем уха слышал об эмигрантах, – все это копилось в нем исподволь и вдруг само во сне выстроилось в стройную книгу – путешествие по судьбе целого народа. Господи, да может ли журналист мечтать о лучшем замысле!

Рубинчик возбужденно встал с дивана-кровати и мимо двери в детскую прошел в прихожую. Там он сунул ноги в валенки, набросил на плечи свою потертую меховую куртку и, нащупав в кармане спасительную пачку сигарет, вышел на узенький балкончик, заставленный пустыми банками и старыми игрушками Ксени и Бориски. Он никогда не курил в квартире и, даже выйдя на балкон, проверял, перед тем как закурить, плотно ли закрыта форточка в окне детской комнаты. Вот и сейчас он по привычке тронул рукой эту форточку, прижал ее, чтобы дым от сигареты не пошел к детям, и только после этого чиркнул наконец спичкой и жадно затянулся.

Россыпь одинаковых шлакоблочных восьми- и шестизэтажных «хрущоб», запаянных по швам какой-то черной мастикой и оттого похожих на костяшки домино, лежала перед Рубин-

чиком в сером мартовском снегу подмосковного микрорайона Одинцово. За домами, вдали, темнели два ряда кооперативных гаражей, а еще дальше, на востоке, за Можайским шоссе, была Москва, но Рубинчик не столько видел, сколько угадывал ее в предрассветном мраке. А слева – огромный котлован, разрытый под какое-то строительство еще прошлым летом и брошенный на зиму, с торчащими из снега бетонными опорами и ржавеющей арматурой. А справа – лес, пересеченный железной дорогой, по которой так часто проходят поезда, что Рубинчик и все остальные жители этого района уже не слышат их.

Но сейчас, в это раннее мартовское утро, Рубинчик и услышал, и увидел очередной поезд и вдруг, впервые за пять лет жизни в этом районе, понял, что все поезда, проходящие мимо его дома, шли на Запад! Да, пять лет, ежедневно, да что там ежедневно – ежечасно! – проходили под его окнами поезда, гудели, клацали колесами и звали его на Запад, а он – глухой идиот! – даже не слышал их, он летал и ездил в командировки только на восток. Но теперь, когда в нем родилась эта Книга... Господи! Какая это может быть *мощная* книга! Пятая глава – «ИЗГОИ»: как Империя топит *отказников* на самое дно – в дворники, в кочегары, в ночные сторожа. Они уже никогда не получают права вернуться к своей профессии, их дети становятся жертвами остракизма в школах, им закрыт доступ в университеты. Ученые становятся истопниками, журналисты – вокзальными грузчиками, а музыканты – ночными сторожами. А за что им отказали? Почему? Ведь это можно изучить, исследовать!

Господи, какая книга! – лихорадочно пронеслось в мозгу Рубинчика. Шестая глава – «ТЕ, КОМУ ПОВЕЗЛО»: что происходит в семьях, которые после месяцев пребывания в неизвестности все-таки получают заветное *разрешение на выезд*. Государство дает им две, максимум – три недели на сборы, и за эту пару недель люди должны сдать этому государству квартиру, растратить или бросить все свои накопления, проститься с родными, близкими, любимыми...

Ох ты елки-палки! Рубинчик даже задохнулся от горя, что не он, не он напишет эту книгу. Он не напишет ее – он еще не сошел с ума, чтобы *подставляться*. Ведь стоит только полезть в этот материал, как КГБ запеленгует тебя и – все, крышка, вышибут из журналистики. А Нелю – из консерватории, а ее отца – из ракетостроения, а Ксению, старшую дочку, – из школы для одаренных детей.

Нет, он не будет писать эту книгу.

Рубинчик в сердцах швырнул вниз с балкона окурок и вернулся в квартиру. Холодно, нужно проверить детей – укрыты ли? Сняв валенки и куртку, он осторожно открыл дверь в детскую, но дверь, паскуда, скрипнула так, что Ксения заворочалась во сне. Вечно он забывает смазать эту дверь! Рубинчик прошел в детскую. Бориска в порядке, малыш еще спит в одеяле-конверте, нужно только сменить ему пеленки, они к утру иногда записанные, хотя парню уже почти три года. А с Ксеньей беда – постоянно сбрасывает с себя одеяло, а потом мерзнет во сне и простужается. Вот и сейчас поджала голые ноги под подбородок.

Рубинчик укрыл дочку, туго заправил одеяло под матрац с двух сторон, проверил у сына пеленку – сегодня еще сухо! ура! – и постоял над детьми. Разве может идти речь о ТАКОЙ книге, когда у него двое детей. ТАКАЯ книга – как та бомба на перроне 1941 года, может взорвать жизнь его малышей. Нет, он, конечно, не станет писать эту книгу!

Подняв с пола плюшевого зайца, Рубинчик положил его сыну на подушку и вышел из детской. В гостиной, которая на ночь превращалась в спальню, спала Неля, ее длинное узкое тело теперь наискось пересекало раскрытый диван-кровать. В рассветном полумраке Рубинчик увидел ее белое плечо, щеку на подушке и губы, приоткрытые, как удочки. Его всегда удивляло, как случилось, что он – половой антисемит и русофил, как он сам себя называл, – женился на еврейке. Может быть, все его романы с русскими женщинами были просто реваншем за детство, изуродованное юными и взрослыми антисемитами? А когда пришла пора жениться, он подсознательно выбрал еврейку? Или это Неля выбрала его?

Рубинчик осторожно поднял край одеяла и лег, сразу оказавшись в коконе из Нелиного тепла, запахов ее груди, волос, плеч.

Неля, не открывая глаз, томно потянулась к нему, прилегла к его боку теплой грудью, и Рубинчик тут же почувствовал, как в нем проснулось, вздыбилось желание, отчего даже голенные мускулы напряглись. И тотчас Неля – всегда чуткая на такие моменты – открыла один глаз и вопросительно посмотрела на Рубинчика. Хотя последние три года, то есть сразу после рождения Бориса, в их постельных отношениях наступило явное похолодание, секс на рассвете, по утрам еще доставлял им почти прежнее, досупружеское удовольствие. Словно за прошедшую ночь забывались и двое детей, него, Рубинчика, слишком частые попойки с друзьями (и бабами, Неля в этом не сомневалась), и семейные ссоры, и вся эта мерзкая дневная накипь будничной советской жизни. К утру, а точнее, к рассвету, они – иногда – снова хотели и *имели* друг друга – истово, подолгу, всласть.

Вот и сейчас Рубинчик с готовностью продел руку жене под голову и властным, мужским жестом привлек ее к себе, а второй рукой уже заголял под одеялом ее ночную сорочку.

Но в этот миг дальний, со стороны Москвы, перестук вагонных колес накатил на Одиново, и очередной экспресс, тараня ночь и пролетая мимо их дома *на Запад*, вдруг огласил всю округу мощным тепловозным гудком. Рубинчик ослаб, расслабился. Неля замерла и изумленно открыла второй глаз.

– Извини... – сказал Рубинчик.

Она закрыла глаза, вздохнула и повернулась к нему спиной.

Он лежал и слушал стук поезда, уходящего на Запад.

## Глава 2

### Выбор Степняка

*Со дня Октябрьской революции в нашей стране евреи во всех отношениях находятся в равном положении со всеми другими народами СССР. У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выдумывают его, поют с чужого голоса.*

**Никита Хрущев, 1964**

*...еврейство остается всегда национально, в смысле своего проникновения в толщу жизни других народов, ее нервы и мозг, оставаясь при этом самим собой, как международно-сверхнародно-национальное единое в своей неразложимости. Это не устраняется даже смешением крови через смешанные браки, которые создают лишь для этого влияния новые возможности, более интимные.*

**Протоиерей Сергей Булгаков**

В то же утро далеко от Москвы, на юге России, по грунтовой проселочной дороге, среди весенних цветущих яблоневых садов мчался, превышая все ограничения скорости, старенький милицейский «газик» с выцветшим брезентовым верхом. В машине за рулем был красивый, крупный, синеглазый, усатый, с орлиным носом и пепельным чубом тридцатидвухлетний Василий Степняк, следователь Краснодарского областного уголовного розыска. Рядом с ним сидел худой мужчина в темном шевиотовом пиджаке, с птичьим профилем и коротко стриженной сединой, а на заднем сиденье еще двое – рыжемордый лысый толстяк и рябой заморыш с желчными глазками. Ухабистая дорога, размытая стаявшими недавно снегами, то и дело встряхивала машину, но ни один из ее пассажиров не держался за свисавшие с потолка брезентовые петли-поручни. Их руки были в стальных наручниках.

Хотя закон запрещал перевозить арестованных вот таким *открытым*, а не в спецмашине, способом и хотя чуть не каждый ухаб подкидывал их так, что они ударялись головами о брезент крыши, Степняк не сбавлял скорости. Крепко зажав в зубах бумажный мундштук «Беломора», он двумя руками держал баранку и гнал машину на юг, в Краснодар, зная, что должен сдать их в КПЗ до 8.00, до начала рабочего дня в областном комитете партии.

Потому что все трое арестованных им убийц были не просто коммунисты, члены «великой партии», но и районная *номенклатура* – председатель колхоза «Заветы Ленина» Афонин, главный бухгалтер колхоза Щадов и парторг колхоза (он же председатель сельсовета) Курзин. А арестовывать номенклатуру без согласия областного комитета партии не разрешалось. Степняк это хорошо знал, он уже шесть лет работал в угрозыске.

Но тут был особый и – скажем прямо – выдающийся случай. Два дня назад, во время субботнего дежурства Степняка, в угро вошла пожилая женщина в запыленном платке, грязных сапогах, рваном ватнике и с суковатой палкой в руке. Дежурный сержант уже открыл рот, чтобы выгнать эту, как он подумал, пьянчужку или вокзальную шлюху, но одного взгляда на лицо этой женщины было достаточно, чтобы даже сержант милиции заткнулся и вопросительно повернул голову к Степняку.

Губы у этой женщины запеклись, щеки и лоб были в царапинах и со следами засохшей крови, а в глазах стояла такая боль, что Степняк встал ей навстречу, подвинул стул и налил ей из графина воду в стакан. Женщина с трудом опустилась на стул. И минуту сидела с закрытыми глазами. Потом открыла их, грязной, узловатой, крестьянской рукой взяла стакан и выпила его медленно, до дна.

– Я шла до вас двое суток... лесами... – сказала она. – Они убили моего сына...

Через сорок минут, выслушав женщину, Степняк спросил у нее:

– Вы можете уехать из области дней на пять?

– Как же ш я уйду? – горько усмехнулась она. – Я ж колхозница, без паспорта. Вы шо, не знаете?

Как у многих жителей соседних с Украиной областей, у нее был южно-российско-украинский говор, она говорила «шо» вместо «что» и заглушала звонкие согласные.

– А тут, в городе, остаться у каких-нибудь знакомых можете? – спросил Степняк.

– У сына тут невеста была. Может, к ней?

Отправив женщину к этой «невесте» и взяв на всякий случай ее адрес, Степняк с нетерпением дождался конца своего дежурства и оставил своему сменщику следующий, для начальства, рапорт:

НАЧАЛЬНИКУ КРАСНОДАРСКОГО ОБЛАСТНОГО УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА

майору КРИВОНОСУ И.П.

Согласно поступившему в 18.45 сообщению в Качаловском районе произошло преднамеренное убийство, в связи с чем срочно выезжаю туда для проверки. Прошу считать меня в командировке сроком на три дня с субботы, 21 марта с.г.

*Следователь В. СТЕПНЯК*

Майор Кривонос еще вчера, в пятницу, на единственной в угрозыске машине «ГАЗ-24» уехал за триста верст в Полтаву, на серебряную свадьбу своей сестры, и вряд ли приедет раньше вторника, но рапорт пусть лежит, для порядка.

Сдав дежурство, Степняк последним автобусом доехал домой, поужинал тем, что загодя аккуратно накрыла ему на столе жена, но в спальню не прошел, а написал записку:

Фаина, я поехал в Качаловку на расследование убийства. Буду через два-три дня. Васыль.

Хотя Степняк был чистокровным русским, его жене нравилось называть его не на русский манер – «Василий», – а именно «Васыль» – по-украински, тверже. Эта твердость как бы подчеркивала признание его надежности, силы, и Степняк легко и даже с внутренним удовольствием тоже стал звать себя «Васылем» – сначала в шутку и только в разговорах с женой, а потом и со всеми.

Теперь, оставив на столе записку, Степняк сложил в потертый портфель зубную щетку, порошок, мыло, две теплые байковые рубашки-ковбойки, лупу, сантиметр, блокнот, фотоаппарат «Зоркий-2» и пару яблок. С этим портфелем он тихо вышел из своего домика-хатки во двор, открыл сарай и впрок для спящего там поросенка насыпал полкорыта кукурузных початков. Поросенок зачавкал во сне, он был еще трехмесячным малышом, но с хорошим аппетитом, и к следующему Новому году обещал вымахать в настоящего хряка. Степняк запер сарай, для надежности подпер дверь еще и старой кочергой и пошел со двора.

Он хорошо рассчитал, что если выедет сейчас, в ночь с субботы на воскресенье, то никто его не задержит – ни областное начальство, которое еще с утра уехало, как обычно, в совхоз «Крылья коммунизма» на раков с пивом и водкой, ни жена Фаина, которая ложится спать сразу после субботней телепередачи «Голубой огонек».

Однако Фаина все-таки услышала, как он возился в сарае, и высунулась из окна, когда он шел к калитке:

– Васыль!

Степняк с досадой вернулся к хате, а Фаина уже стояла на крыльце – маленькая, как девочка, босая, черные волосы распущены по ночной сорочке, а в руках держала его шерстя-

ной свитер. Обычно, начиная какое-то расследование, Степняк подробно обсуждал его с Фаиной, поскольку они вместе учились на юридическом факультете Краснодарского университета – она на очном отделении, а он на заочном. И нужно честно сказать, что это именно благодаря ей, Фаине, он из *чурок*, то есть из рядовых милиционеров, так круто и быстро выбился в следователи угрозыска, даже с незаконченным еще юридическим образованием.

Но сейчас, среди ночи, ему было некогда посвящать Фаину в новое дело.

– Ну шо ты встала? Я ж все написал... – сказал он.

Он знал, что она сама, первая, не станет расспрашивать его о новом расследовании, она умела дожидаться, пока он сам «дозреет».

– Держи. – Фаина дала ему свитер. – Холодно ж! Как ты поедешь? Ночь...

– Попутку словлю. Иди.

– Не поцелуешь?

Он быстро поцеловал ее, но она тут же, вся поднявшись на цыпочки, словно взлетев, прижалась к нему так, что он даже через пиджак ощутил ее грудь и плечи.

– Ладно, иди... – наконец оторвал он ее от себя и, повернувшись, пошел по ночной, туманной и пахнущей свиньями и садами улице.

– Вася... – сказала она у него за спиной, но он не оглянулся. Если ее лишний раз поглядеть, то уже сладу не будет, не с ней, а с ним – это он знал по опыту. Что-что, а вызвать в нем желание Фаина умеет даже одним движением бедра, да что там бедра – взглядом! «Любит, холера!» – самодовольно подумал Степняк и, шагая по темной улице, невольно вспомнил свою Фаинку в постели – как она совершенно чумает при первом же *заходе*, стонет, кричит, плачет от наслаждения, вьется вьюном, скачет галопом, бьется об его ноги копной своих черных волос, а потом замертво, как птенец после бури, падает на его широкую грудь. Но стоит ему продолжить, шевельнуться в ней, поднять ее руками за плечи и задать ей ритм и позу, как она опять оживает, поет и рыдает, но даже в своем затмении, за пределами слышит и исполняет малейший приказ его тела, рук, пальцев. А истаяв, снова падает ему на грудь – по десять раз за его один раз! – теща тем самым его мужское самолюбие и провоцируя это самолюбие держать его силу дольше, дольше, еще дольше – чтобы увидеть новый приступ ее агонии, а потом – еще один и еще...

«Ладно, – подумал на ходу Степняк, – вот кончу заочку, получу к зарплате надбавку за высшее образование и тогда вытащу у Фаинки спираль и замастырю ей наконец пацана. Давно пора, 27 лет уже бабе, сколько ж можно ее вхолостую гонять...»

С этими мыслями он вышел из тихих улочек своего района на Гагаринский проспект, который за городом сливался с шоссе Краснодар – Москва. Тут, на углу, Степняк остановился и, спокойно покуривая, дождался первой попутки-грузовика, поднял руку. Конечно, шофер грузовика тут же тормознул, полагая сорвать с ночного пассажира трояк на пол-литра. Но Степняк, ступив на подножку кабины, вытащил из кармана не деньги, а красную дерматиновую «корочку» – удостоверение сотрудника МВД.

– Угрозыск! – сказал он, зная, что одного этого слова достаточно, чтобы шофер охотно, а не только по обязанности повез его в попутном направлении. Хотя большинство шоферов не любят милицию, но к угрозыску относятся с почтением, поскольку угро все-таки делом занимается, бандитов ловит, а не охотится, как вся остальная милиция, за шоферами на дорогах, обдирая их штрафами.

Через три часа, сменив четыре попутки, Степняк был в Качаловке, центре огромного, как какая-нибудь Дания, района, знаменитого своими яблоками *апорт*, *бумажный ранет*, *антоновка* и *белый налив*. Запыленный молоковоз, громыхая прицепом с пустой цистерной, промчался по сонным еще и утопающим в садах улицам и, облаянный собаками, остановился у запертых ворот районной больницы имени, как гласила вывеска, Клары Цеткин. Степняк пожал руку мальчишке-водителю, дал ему на прощание папироску и выпрыгнул из кабины,

насквозь провонявшей бензином, чесночной колбасой и папиросным дымом. И только теперь, сделав первый же вдох, ощутил, что действительно прибыл в яблочный рай – так мощно пахло тут белым яблоневым цветом. Даже за больничным забором был яблоневый сад, который не умещался там, а рвался ветками через забор, осыпая в придорожную пыль белую пену лепестков. И в глубину всей улицы, по которой умчался молоковоз, стояли эти сады – сплошной яблоневый сад, освещенный первыми лучами южного солнца. Рай, подумал Степняк и восхищенно крутнул головой – вот же какую землю дал нам Бог: палку воткнешь – сад вырастет!

Но тут же, вспомнив дело, по которому он сюда приехал, нахмурился и толкнул больничную калитку рядом с воротами. Калитка оказалась незапертой, а сразу за ней была кирпичная будка проходной, возле которой старик сторож в выцветшем армейском кителе без погон ковырял лопатой клумбу с профилем Ленина, выложенным цветами.

– До кого? – грубо сказал он Степняку.

– Угрозыск. – Степняк сунул ему под нос свою «корочку» и посмотрел на несколько низеньких домиков, разбросанных в саду. – Где тут морг у вас?

Старик всадил в землю лезвие лопаты, нацепил на нос очки и неспешно, близорукими глазами изучил удостоверение. Убедившись, что Степняк действительно из областного угрозыска, сказал:

– Дежурная дохторша у главном корпусе, вона у том...

– А морг где? – спросил Степняк.

– А морг позади, у глыбине. Токо нема там никого, пусто. Шо тебе той морг сдався?

– Как это пусто? А где ж вы покойников держите?

– А нэма в нас покойников. Один був на той неделе, так и того учора схоронили.

– Чего-о? – не поверил Степняк. – Как это похоронили? Кто?

– А шо ж его держать? – сказал старик. – Мать сбегла, а больше в него нэма родичей, вот и схоронили. За казенный кошт.

– Где похоронили? – уже спокойней спросил Степняк.

– А про то не знаю, – замкнулся старик и снова взялся за лопату. – Я на кладбище не був. Ты у врачей запытай...

Через двадцать минут Степняк выяснил у полусонной дежурной врачихи, что нужного ему покойника действительно еще вчера похоронили на районном кладбище – райком партии приказал не ждать, когда его мать найдется. Степняк понял, что опоздал или почти опоздал, но то, что он появился в шесть утра, да еще в воскресенье, упростило ему задачу. Легко получив у дежурной врачихи журнал регистрации поступления больных, он сфотографировал в нем 47-ю страницу и переписал ее в свой блокнот. Затем опечатал этот журнал и составил «Акт изъятия». Потому что на странице 47 было записано, что

«17 марта в 7.25 утра в бессознательном состоянии поступил в больницу СТАШЕВСКИЙ Виталий Семенович, 27 лет, главный агроном колхоза „Заветы Ленина“. Предварительный диагноз – приступ аппендицита на фоне алкогольного отравления. В 8.50, во время операции, СТАШЕВСКИЙ В.С., не приходя в сознание, скончался».

Две следующие строки были так густо замазаны чернилами, что даже на просвет невозможно было ничего прочесть, кроме первой заглавной буквы «Д», и, по аналогии с другими записями, Степняк легко догадался, что здесь был записан окончательный диагноз.

– А кто замазал окончательный диагноз? – спросил он дежурную.

Она пожалала плечами – она не работала в тот день, но если он хочет, то можно послать няню за главврачом Марьей Денисовной.

– А телефон у нее есть? – спросил Степняк.

– Та какой телефон? Откуда в нас телефоны? Денисовна тут живет, через дорогу.

Степняк подумал, что хоть тут повезло, и сам пошел через дорогу, толкнул калитку, которую ему указал старик сторож. Но сразу же и отпрянул назад, потому что во дворе из глубины сада на него молча ринулся огромный серый волкодав, и только цепь, пролетевшая за псом по навесной проволоке до мачты-упора, остановила собаку в каком-нибудь метре от калитки. Отброшенный этой цепью назад, пес развернулся и, натягивая ошейник, остервенело залаял.

Степняк стоял у калитки и ждал, когда пес разбудит хозяев. Ему, проработавшему в угрозыске уже шесть лет, было достаточно одного взгляда на этого пса, дом с новой черепицей, два кирпичных сарая, крытых новым толем, огромную свиноматку с шестью поросятами под старой яблоней и новенькие красные «Жигули» под навесом, чтобы представить себе, кто и как тут живет. *Такого пса и такую свинью нельзя прокормить на зарплату главврача районной больницы. А про «Жигули», черепицу, толь и кирпич, которых никогда не бывает в магазине, да и на черном рынке редко найдешь даже по пятерной цене, – про все это и говорить нечего.* Так что пса, свинью и поросят, ясное дело, кормят с кухни больницы...

Тут, прервав его мысли, на крыльцо дома вышел пятнадцатилетний парень с фигурой штангиста и в трусах до колен.

– Чо надо? – крикнул он издали, поверх лая собаки, которая при виде хозяина еще старательней надрывалась.

Сын, видать, подумал Степняк и сказал:

– Мать позови.

– А в чем дело?

– Я из области. Мать позови.

Только теперь на крыльцо вышла та, в которой по особой *партийной* стати можно было с первого взгляда опознать принадлежность к *номенклатуре*. Да, всего за пять-шесть десятилетий коммунисты смогли вывести, создать и утвердить в обществе эту совершенно новую породу людей, у которой родовые, а точнее, классовые признаки переходят не по наследству и даже не по должностям, а по степени *причастности* к партийной власти. Вы можете быть главным инженером огромного завода или лауреатом всех международных музыкальных фестивалей, но если вы не *причастны*, то у вас все равно никогда не будет такой спеси в лице, такого самоуверенного разворота плеч и такой властной посадки головы, как у самого заштатного районного инструктора райкома партии. А при встрече с вышестоящей партийной персоной вы никогда не сможете так заглядывать ей в глаза и *так* «соответствовать». Той особой сословной вышколенности, на культивацию которой японцы потратили пять тысяч лет, коммунисты достигли всего за пять десятилетий.

Сорокалетняя Марья Денисовна Косая была статной, широкоплечей, грудастой бабой с тяжелой пшеничной косой, уложенной на затылке, с крутыми бедрами, напирющими еще вполне ядреной плотью на тонкую ткань желтого сарафана, с белыми мясистыми икрами и с такими же белыми оголенными полными руками. Но всю эту лепоту, столь любимую 50- и 60-летними партийными *вождями* и на которой иные умелые бабы делали стремительную карьеру аж до министерского уровня, – всю эту лепоту портило в Марье Денисовне ее тяжелое лицо с крупными конскими зубами, украшенными золотыми коронками. И хотя на плечах Косой не было никаких погон, а был лишь летний сарафан, легкий даже для нынешней ранней весны, Степняк легко угадал, что ее партийно-постельные связи не поднимаются выше обкома партии. Но зато в своем районе она, видать, стоит крепко, и отсюда – этот дом, черепица, толь, «Жигули» последней модели.

Властно цыкнув на пса, Косая подошла к калитке:

– Слушаю вас.

– Доброе утро. – Степняк снова продемонстрировал свое красное удостоверение. – Я из областного угрозыска. Степняк Василий Иванович. Мне нужно срочно ознакомиться с больничными документами. Пойдемте.

– С какими документами?

– Разными, – уклончиво ответил Степняк. – Я вам там скажу. Прошу вас.

И, не оставляя Косой возможности выбора, повернулся и пошел через улицу к больничным воротам. Он хорошо знал, что только так, демонстрируя самоуверенность *высшей* власти, он может вытащить ее из ее логова и допросить еще до того, как она свяжется со своим районным кланом.

Его расчет оправдался – растерянно оглянувшись, Косая последовала за ним, а в больнице он не дал ей возможности и словом перемолвиться ни с дежурной врачихой, ни с медсестрой. Правда, в своем кабинете, украшенном портретами Брежнева и Ленина, она сделала попытку выяснить насчет «а райком в курсе вашего приезда?» и «на чем вы приехали?». Но Степняк отвел эти разведвопросы спокойной усмешкой: «Марья Денисовна, вы же знаете, что наша организация не привыкла отвечать на вопросы. Мы их задаем». И в упор посмотрел ей в глаза.

Он знал, что, помимо милицейской властности, его синие глаза обладают еще одной силой – мужской. Не кто иной, как жена, внушала ему это чувство мужского суперменства с их первой, еще добрачной ночи и оказалась права – он теперь все чаще пользовался этим. Нет, он не изменял Фаине – она всегда, и после шести лет супружества, была для него не только достаточна, но... – как бы это сказать? – даже после очередной бурной ночи и еще помня ее всю и до всех ее глубин, Степняк, встретив утром Фаиныны глаза, видел в них какую-то новую, дразнящую его загадку порока-вызова, избежавшего его мужской силы и плоти. Словно там, за этими большими темными глазами, было какое-то *тайное* знание, неведомое простому смертному, какой-то ход в другой мир. Ни у кого из знакомых Степняку женщин не было в глазах этой загадки тьмой и бездной, все остальные были просты для него, как правила арифметики. Вот и сейчас, глянув на Косую упорным *мужским* взглядом, Степняк тут же прочел в ее глазах все, вплоть до ее неутоленной женской *готовности*.

– Пожалуйста, – сказал он властно, – покажите мне документы по всем смертным случаям за прошлый и за этот год...

Через десять минут он нашел то, что искал: медицинское заключение о смерти Виталия Сташевского. В нем синими чернилами на сером больничном бланке было написано, что смерть СТАШЕВСКОГО Виталия Семеновича, 27 лет, жителя деревни Антоновка колхоза «Заветы Ленина», наступила «в результате острого перитонита, вызванного алкогольным отравлением». Но в отличие от всех остальных аналогичных документов это заключение было подписано не двумя врачами больницы, а только одним – главврачом Косой.

Изъяв это и для отвода глаз все остальные одиннадцать заключений, Степняк распорядился вызвать хирурга. Он уже уяснил, что из пяти больничных врачей только один хирург – Глотников Владлен Карпович. Этот Владлен – пожизненная жертва идеализма двадцатых годов, в результате которого появились имена Владлен (*Владимир Ленин*), Марксэн (*Маркс-Энгельс*), Элем (*Энгельс-Ленин-Маркс*), Индустрии и даже женское Сталина, – оказался худым, поджарым пятидесятилетним курильщиком таких же, как у Степняка, папирос – «Беломорканал». Но конечно, не это расположило к нему Степняка, а тот факт, что Плотников, оперировавший Сташевского, не подписал липовое заключение о его смерти «от перитонита». Степняк с интересом посмотрел на Плотникова. У этого Владлена были рыжие насмешливые глаза, на голове – выцветшая рыбацкая панاما, а в руках – удочки. Няня, которая бегала за Плотниковым, перехватила его уже на пути к реке.

– К сожалению, – сказал ему Степняк, – мне придется испортить вам утреннюю рыбалку. Вы и Марья Денисовна будете сопровождать меня на кладбище, на эксгумацию трупов.

– Каких трупов? Это еще зачем? – воскликнула Косая, и на ее лице и белых плечах разом появились красные пятна. – Вы не имеете права!

– *Мы* имеем право, – сказал Степняк, глядя, как она схватила телефонную трубку. – А что вы так нервничаете?

Но она не ответила. Ожесточенно постучав по рычажку телефона, властно сказала в трубку:

– Максимыча! Срочное. – И тут же сменила тон: – Михаил Максимыч, Косая говорит! Здрости! Тут, понимаете, какая-то ерунда получается! Воскресный день, трудящиеся отдыхают, понимаете, а нам на голову ни свет ни заря приехал какой-то следователь из области, перебудил мне всю больницу и еще собирается трупы раскапывать!.. – И повернулась к Степняку: – Как ваша фамилия?

– А с кем вы разговариваете? – спросил Степняк, понимая, что лимит его самостоятельности заканчивается. В интонации, с которой Косая разговаривала с этим «Максимычем», была, помимо уважительности *подчиненной*, еще и нотка той агрессивной капризности, которая выдавала особые, внеслужебные, отношения.

– Я разговариваю с товарищем Суэтиным, первым секретарем райкома партии! – гордо и громко сказала Косая.

Степняк положил перед ней свое удостоверение.

– Вот, Михаил Максимович, – тут же сказала она в трубку. – Степняк его фамилии. Краснодарский областной угрозыск, понимаете. Должность – следователь, но ни командировочного удостоверения, ни решения прокуратуры на раскопку трупов – ничего нет! И даже непонятно, на чем приехал, понимаете! – И торжествующе протянула трубку Степняку. – Говорите!

Степняк взял трубку, она еще хранила тепло ее горячей руки.

– Слушаю вас...

– Какие вы будете трупы раскапывать? Чье указание? – спокойно спросил властный голос.

– К сожалению, Михаил Максимович, – сказал Степняк, – я не имею права обсуждать это по телефону. Тем более через коммутатор. Но если вы можете прислать кого-то из аппарата райкома...

Говоря, чтобы кого-то прислали *к нему*, Степняк отрезал Суэтину возможность вызвать его в райком, и Суэтин мог расценить это только однозначно: за Степняком стоит какая-то значительная сила, чье-то высокое *указание*.

– Дайте Косую! – сказал голос.

Степняк вернул трубку Косой. Он знал, что сейчас произойдет – Суэтин прикажет Косой оттянуть время, а сам начнет названивать в область, майору Кривоносу, якобы с той же жалобой, что Степняк приехал в воскресенье, а на самом деле выяснить, с каким он, Степняк, заданием. Но Кривонос уехал в Полтаву, на серебряную свадьбу сестры, а выше Кривоноса в области только начальник краснодарской милиции полковник Рогулин, который сейчас в «Крыльях коммунизма» и наверняка еще спит в дупель пьяный после ночной попойки. Так что пока все идет по его, Степняка, расписанию и расчету. «Верно, Фаина?» – сказал он мысленно, по привычке регистрируя в памяти свои действия, чтобы потом не без гордости обсудить их с женой. Никуда не дозвонившись, Суэтин, конечно, пришлет сюда на разведку какого-нибудь инструктора-шестерку, может быть, даже с приглашением от Суэтина пожаловать в райком. Что ж, будем действовать по обстоятельствам, сказал себе Степняк.

Однако он просчитался – вместо инструктора райкома в больницу уже через десять минут прикатил на «газике» сам начальник районной милиции старший лейтенант Николай Загуба. И вся затея Степняка могла бы накрыться, если бы Загуба трезво и грамотно стал мешать ему вести расследование. Но по счастью, Загуба, во-первых, был с перепоею, а во-вторых, заочником того же, что и Степняк, Краснодарского университета и как раз в прошлую, зимнюю, сессию сдал зачет по криминалистике по его, Степняка, конспектам. По этому поводу они тогда крепко врезали в ресторане «Кубань». Так что теперь, увидев Степняка, Загуба не стал требовать ни командировочного удостоверения, ни даже постановления прокуратуры на изъятие служебных

документов или эксгумацию трупов, а только чтобы Степняк немедленно ехал к нему домой завтракать.

– Та успеют те трупы! – говорил он, обнимая Степняка за плечи. – Ну, куда они втекут? Мне Суэтин звонить, говорить: проверь, шо за гусь к нам из области приехал! А то ты! Зараз поедем и шваркнем яишню з салом и первача, а тогда вже будем какие хошь могилы раскапывать! Васыль! Оно ж так веселей будет! Мы тоди ще з собой на кладбище бутыля возьмем!..

Но хотя от Загубы несло водочным перегаром, Степняк не был уверен, что это настойчивое приглашение на завтрак – не приказ Суэтина любым способом задержать эксгумацию. Потому он снял с плеча руку Загубы и сказал:

– Микола, ты можешь вот этим товарищам врачам подтвердить, что, согласно постановлению Верховного Совета, они обязаны всемерно помогать органам милиции и особенно уголовному розыску?

– А то как же ш! – воскликнул Загуба. – Усе обязаны!

– Ну тогда прошу вас, товарищи врачи, в машину! – Степняк показал Косой и Глотникову на милицейский «газик» Загубы и, проходя мимо старика сторожа, на ходу реквизирует у него лопату. Загубе ничего не оставалось делать, как везти их на кладбище.

Через двадцать минут на пустом и обсаженном тополями сельском кладбище (только три старушки в платочках сидели там с иконой над какой-то дальней могилой) Степняк сделал вид, что еще не решил, с какой могилы начнет эксгумацию. И, перебирая в папке свидетельства о смерти, чесал затылок, мысленно глядя на себя самого глазами Фаины. Пока все шло нормально, Фаина бы его одобрила.

– Ладно, – сказал он наконец. – Начнем со свежей могилы. Чтоб раскапывать было легче. Где тут ваш последний закопан?

Но Косая демонстративно молчала, поджав полные губы, а Глотников пожал плечами.

– А ты чего – бациллу какую ищешь чи шо? – спросил Загуба.

– Ага... – сказал Степняк и с лопатой в руках пошел в дальний конец кладбища, к единственной тут свежей могиле – холмику рыхлой земли без цветов и без креста, а только с дощечкой на кривом кольшке. И угадал – на дощечке чернильным карандашом было написано неровно, наспех: «Сташевский В.С.»

– И сам копать будешь? – изумился Загуба. – Та ты шо! Я тебе зараз бригаду алкашей привезу! У меня в КПЗ шесть пятнадцатисуточников!..

– Подожди... – сказал Степняк. – Эту я сам раскопаю, для зарядки. А тогда вже...

Земля на могиле была плохо утрамбована, лопата входила легко, а после второго перекура нетерпеливый Загуба даже сменил Степняка, из чего Василий заключил, что Загуба не знает об истинной причине смерти Сташевского. Наконец лопата глухо ударила по крышке гроба.

– Ты гроб поднимать будешь или тут, у яме, посмотришь? – спросил Загуба, быстро трезвея от работы на свежем кладбищенском воздухе.

– Тут посмотрим, – ответил Степняк и, не глядя на пошедшую пятнами Косую и нейтрально-любопытного Глотникова, спрыгнул в могилу, руками расчистил землю вокруг простого некрашеного гроба. Спросил у Загубы: – У тебя в машине инструмент есть? Крышку открыть.

– А то ж! – сказал Загуба и с готовностью притащил монтировку и ящик с инструментом. Но им хватило и монтировки – крышка гроба была прибитая всего двумя гвоздями.

Поднимая ее, Степняк придержал дыхание, готовясь встретить запах тления и зрелище разлагающегося трупа. Но захороненное лишь сутки назад тело не издавало еще тлетворных запахов, а ленивые, сытые черви краснодарского чернозема еще не проточили себе путь сквозь гробовые доски. Виталий Сташевский – широкоплечий и, судя по длине трупа, невысокий парень с желтым успокоенным лицом и непричесанной каштановой шевелюрой – лежал в

гробу, одетый так, как, видимо, он поступил в больницу: в белой праздничной рубашке и черных брюках, из которых торчали желтые босые ноги. Степняк расстегнул ему рубашку до пояса, но на животе Сташевского не было никаких следов операции. Он взялся за поясной ремешок, но тут Марья Денисовна Косая круто повернулась и пошла прочь с кладбища.

– Задержи ее, – сказал Степняк Загубе.

Ступив на угол гроба, Загуба выбрался из могилы и пошел за Косой. Степняк слышал, как она с досадой выпалила ему: «Идиот! Тебя ему помогать прислали?» И как Загуба изумленно ответил: «При чем тут помогать? Мне Суэтин велел проверить, кто он такой, а чего мне проверять – я его и так знаю! Вернитесь к могиле, Марья Денисовна». «Да пошел ты на хер!» – огрызнулась Косая и широкой походкой пошла с кладбища в сторону близкой Качаловки. Загуба растерянно посмотрел ей вслед и, озадаченный, вернулся к могиле.

То, что он тут увидел, заставило его тут же забыть о странном поведении Косой.

Перед ним в раскрытом гробу лежал обнаженный до колен труп Сташевского, но внизу живота покойника не было паха. Грязный, окровавленный пластырь закрывал пустоту на месте вырезанного вместе с ляжками полового органа. По краям этой пустоты были рваные куски сухожилий и уже гниющего темного мяса. А над покойником стоял Степняк, щелкал фотокамерой «Зоркий-2» и разговаривал с Глотниковым.

– Когда его привезли, было поздно, клей схватился, – говорил Глотников. – Парень от боли был уже без сознания, а что я могу сделать? Вы же знаете, «БФ» застывает, как камень. Я даже пилой пробовал резать – не вышло!

– А где ж его этот, ну... – Загуба показал на пах покойника.

– Я ж говорю, клеем был залит, «БФ», – ответил ему Глотников.

– Клеем? – изумился Загуба.

– А зачем вы вырезали все? – спросил Степняк.

– Косая приказала, – сказал Глотников.

– И где же оно? Ну, то, что вырезали?

– Не знаю. Я в мусорное ведро бросил. На мусорке, наверно.

– А кто ему клеем залил? Сам, что ли? Или баба? – спросил Загуба. – От ревности, поди? Ну и бабы! – Вдруг задохнулся от шерлокхолмсовской догадки: – Неужто – Косая?! Вот блядь! Он же ей в дети годится!

– Подожди, Микола! Остынь, – сказал Степняк и показал на трех старух в дальнем конце кладбища: – Приведи тех женщин, нам понятия нужны, чтоб акт составить.

Позже, после формального допроса Глотникова и Косой, Степняк еще час провозился в мусорных ящиках на задворках больницы, весь провонял там гнилыми окровавленными бинтами, тампонами и прочими больничными отбросами, но нашел-таки килограммовый кусок клея «БФ», грязный, облепленный зелеными мухами и червями, но хранящий в себе, как впамятный, половой орган и гениталии Виталия Сташевского.

Мысленно похвастав этой добычей перед женой («Ну, Васыль! Орел!» – скажет она) и в то же время усмехнувшись некоторой экстравагантности этого вещдока, Степняк обмыл окаменевший кусок клея, завернул в газету «Коммунист Краснодара» и спрятал в портфель.

Затем был долгий и нелегкий допрос продавщицы единственного в Качаловке хозяйственного магазина. Но и тут Степняка ждала удача: после «не знаю», «не помню» и «тут сто людей на дню заходит» продавщица достала толстую папку с накладными и квитанциями, и среди этих накладных Степняк уже сам обнаружил, что ровно неделю назад Щадов, главный бухгалтер колхоза «Заветы Ленина», купил *по перечислению* пять банок клея «БФ» общей стоимостью 4 рубля 48 копеек.

Эти 4 рубля 48 копеек почему-то особенно допекли Степняка. Все в этом преступлении было сделано нагло, грубо, почти открыто, но то, что даже орудие убийства – клей «БФ» – преступники купили не на свои, а на колхозные деньги, – именно это взбесило Степняка.

И когда вечером он – уже в Антоновке, в колхозе «Заветы Ленина» – допрашивал преступников, то не мог избавиться от подступающего к горлу чувства тошноты. Нет, его не стошнило на кладбище при виде изуродованного покойника. И его не тянуло в тошноту, когда он голыми руками рылся в гниющих больничных отбросах. Но сейчас, допрашивая этих *руководителей*, этих *хозяев* страны, ему хотелось блевануть им прямо в их сытые, хорьковые, партийные ряшки.

Потому что даже на допросе они вели себя не как преступники, пойманные с поличным, а как хозяева, уверенные, что им все сойдет с рук. Конечно, ни председатель колхоза, ни парт-орг не сказали Степняку, сколько они платят наверх за свои руководящие должности. Но это он знал и без них, ведь он работал в угро. И там, меж своих, было известно, что *каждый* председатель колхоза ежегодно платит 200 тысяч рублей секретарю райкома, а тот, собирая *оброк* в своем районе, должен половину отдать наверх, в обком партии. А сколько из обкома идет в Москву, в Кремль – этого никто не знал, хотя и пытались высчитать. Конечно, в других областях и ставки другие – где ниже, а где выше, – но в таких плодородных зонах, как Ставрополье, Кубань, Краснодар, даже место начальника районной милиции стоило сто двадцать тысяч...

Но одно дело было – знать, слышать не то догадки, не то правду, а другое – вот так, лицом к лицу увидеть, что этот *новый класс*, это руководящее страной *быдло*, купило себе индульгенцию даже на варварское убийство. В наглости своей они не отрицали и преднамеренный сговор, но говорили, что хотели не убить Сташевского, а только «поучить». И на это «поучить» нажимали старательно, *подсказывая* Степняку, как он должен повести их дело. Им и в голову не приходило, что он приехал сюда не для того, чтобы выгородить их и защитить от обвинений матери Сташевского, а по своему собственному почину – свершить правосудие!

Что касается мотивов преступления, то они поначалу не хотели вдаваться в подробности, хотя Степняк уже знал эти подробности от Клавдии Сташевской, матери покойного.

Прошлым летом Виталий Сташевский окончил Краснодарский сельскохозяйственный институт и с дипломом агронома вернулся в родную деревню. Председатель колхоза «Заветы Ленина» тут же назначил его главным агрономом, поскольку до этого в колхозе не было ни одного дипломированного специалиста. По случаю назначения был, конечно, вечерний сабантуй, колхозное начальство поднимало тосты за то, что теперь у них агроном с высшим образованием, и самое главное – свой, местный парень, которого они «знают с пеленок» и которого они «своими руками вывели в люди, пять лет ему колхозную стипендию платили».

Но буквально через несколько дней начались первые конфликты. Новый агроном замерил все колхозные поля, бахчи и сады и обнаружил, что в отчетных документах площадь активного земледелия занижена в три раза. Таким образом, урожаи, полученные на больших площадях, переводили (на бумаге) на меньшие площади и рапортовали в райком партии и в область о рекордных показателях. А поскольку подобные «сводки» положено отправлять наверх каждый месяц, наступило время и новому агроному ставить свою подпись под этой «липой».

Однако Сташевский отказался подписать липовые отчеты.

Так началась война между 27-летним агрономом и всем остальным руководством колхоза «Заветы Ленина», которое до его появления жило спокойно и воровало так, как все вокруг воруют.

Ни лести, ни попытки подкупа, ни увещевания матери не могли сломить молодого Сташевского. «Я не буду *жить по лжи*», – сказал он странную для матери фразу, не подписал липовые документы, и они ушли «наверх» без его подписи. Афонин, председатель колхоза, написал сопроводительное письмо, в котором объяснил, что старший агроном колхоза тяжело болен и подписать сводки не может.

Тем бы дело и кончилось, если бы в это время не поспели ранние яблоки в садах, а на бахчах – дыни и арбузы, которые и были главным источником доходов колхозного начальства. Метод был прост: восемьдесят процентов того самого *рекордного* урожая, о котором рапорто-

вали для получения наград, списывали теперь как потерю от стихийных бедствий – ливневых дождей, налетов колорадского жука, саранчи, быстрого гниения из-за отсутствия складов и т. д. Вслед за этим тонны отборных, но списанных как гниль яблок и дынь грузили в полученные за взятку вагоны и везли в Сибирь, в заполярные Дудинку, Норильск и Воркуту, где цена яблок на черном рынке доходила до 10 рублей за килограмм. За год только яблоки приносили руководителям колхозов до миллиона рублей чистоганом.

Но теперь, когда в колхозе появился агроном, составлять акты о гибели урожая от ливневых дождей и нашествия саранчи должен был он – и никто другой! Больше того – его подпись должна была стоять первой, и именно от этой подписи вдруг стали зависеть миллионные доходы *святой троицы* – Афонина, Щадова и парторга Курзина.

Целый месяц председатель колхоза и его компания искали пути к сердцу молодого правдолюбца. Целый месяц они обхаживали его, уговаривали, обещали напрямую и через мать огромные деньги за один только росчерк его пера. Сташевский оставался неподкупным. И его нечем было шантажировать – он не пил, не гулял на гулянках и даже не волочился за девками. А вместо этого раз или два раза в месяц уезжал в Краснодар – говорил, что в библиотеку, но даже мать понимала: к своей городской пассии. В библиотеку разве нужно ботинки чистить?

Между тем положение руководства колхоза становилось тупиковым – тонны яблок, готовых к отправке в Сибирь, действительно начали гнить на железнодорожной станции, но не могли двинуться в путь без подписи Сташевского.

– Да он что – жид, что ли? Или жидовских книг начитался в городе? – негодовали в правлении колхоза. – Так мы его под жидка и укоротим!

Никто, конечно, этой угрозе не верил – тем более что Сташевский был потомственным русаком, это все знали, до войны тут полдеревни было Сташевских. Но уперся он в своем «жить не по лжи» с жидовским, как решил Афонин, упрямством, и пришлось-таки отправить все яблоки в Краснодар, сдать государству на плодоовощную базу. Сташевский победил и с гордо поднятой головой ходил теперь по деревне. Он не знал, правдолюбец, что его победу запишут не на счет его вермонтского учителя, о котором тут никто и не слышал, а на счет «жидов», на которых веками привыкли валить все необычное – от жульничества до честности. Но главное, о чем не знал Сташевский: что в тот же день, когда двести тонн сладчайшего *апортта*, *белого ранета* и *антоновки* прибыли в Краснодар, они тут же «сгнили» под росчерком пера руководителей краснодарской базы, а назавтра укатали в Сибирь – в тех же вагонах, в которых прибыли из Антоновки.

Только Афонину, Щадову и Курзину пришлось доход от этой сделки разделить с руководством той базы. «Идиотская» честность и «жидовское» упрямство молодого агронома принесли им первые серьезные убытки.

Но они затаились до весны. А к весне, когда стало ясно, что ни спровадить Сташевского из колхоза, ни женить на ком-нибудь из своих, ни подловить на какой-нибудь ошибке не удастся, вдруг сама собой открылась и причина столь непонятной честности Сташевского. Кто-то из колхозников встретил его в краснодарском кинотеатре с его городской пассией и ясно опознал в ней жидовку. Да и как не опознать, когда она со скрипкой была! Кто же, кроме жидов, у нас на скрипках играет?

Так подтвердилось, откуда у этого Сташевского его жидовское упрямство «жить не по лжи».

...В тот день в колхозе была очередная свадьба, и Афонин приказал молодоженам любым способом уговорить Сташевского на эту свадьбу прийти. Виталий пришел. Вечером на свадьбе Щадов и парторг Курзин произносили тосты «за мир и дружбу между отцами и детьми, между руководством колхоза и нашим молодым и талантливым агрономом Виталием Сташевским!». Но после трех первых тостов в стакане захмелевшего от шампанского Виталия было уже не

шампанское, а *ерш* – смесь пива и водки, и именно «за мир и дружбу» его заставили этот ерш выпить. А когда Сташевский, захмелев, уснул во время танцев, председатель колхоза, парторг и бухгалтер, выпив еще один тост «за дружбу народов», сами, лично, на руках отнесли Сташевского домой. Да, все видели, как они унесли его со свадьбы – заботливо, как родного сына. Но никто не видел, как в ста метрах от дома Сташевских они остановились, опустили свою ношу на землю, расстегнули ему брюки и залили ему пах клеем «БФ», который предусмотрительный Щадов заранее купил в хозторге *по перечислению* и принес на свадьбу в своем служебном портфеле. Застегнув Сташевскому брюки, Афонин, Щадов и Курзин донесли его до дома и с рук на руки сдали матери – точнее, внесли в дом и уложили на кровать.

На рассвете Виталий Сташевский очнулся из-за жуткой боли в паху. Клей, затвердев, как цемент, клещами сжимал ему гениталии. Виталий закричал, позвал мать. Мать бросилась к председателю колхоза за машиной, чтобы отвезти сына в больницу. Афонин не отказал. Наоборот, мельком взглянув на часы, сам пошел будить колхозного шофера. С того момента, как он, Щадов и Курзин вылили на пах Сташевского весь «БФ», прошло уже пять часов, и Афонин знал, что теперь этому «*жиду-правдолюбцу*» уже ничего не поможет. Так оно и было – через два часа, не приходя в сознание, Сташевский умер на операционном столе, перед бессильным хирургом Владленом Плотниковым.

Но ни варварство преступников, ни их наглая уверенность в том, что районное начальство их покроет, не бесили Степняка так, как – почему-то – именно та мелочь, что, воруя *миллионы*, они даже орудие преступления, клей «БФ», купили не за свои, а за колхозные 4 рубля 48 копеек. Это выводило Степняка из себя настолько, что он даже позабыл мысленно оценить всю ситуацию мудрыми Фаиниными глазами. Взяв у Загубы три пары наручников и служебный «газик», он, превышая скорость, вез теперь арестованных в Краснодар. В его портфеле лежали все улики, нужные для того, чтобы судить эту троицу за умышленное групповое убийство. И если он привезет их до восьми утра и, соблюдая все формальности, сдаст под стражу до начала рабочего дня в обкоме партии – как они отвернутся?

Синяя «Волга» ГАИ догнала его на Гагаринском проспекте, и фиксатый старлей Воронин, приятель Степняка, отмашкой полосатого жезла приказал ему остановиться. Василий отмахнулся – мол, ну тебя, я спешу. Но Воронин включил мигалки и сирену и сказал в мегафон:

– Водитель, остановитесь немедленно!

Василий сбросил ногу с газа, прижался к тротуару, к шарахнувшимся в разные стороны прохожим, и высунулся из кабины.

– Ты что, охерел? – весело сказал он подошедшему Воронину.

– Выйди из машины! – строго приказал Воронин.

– Не морочь голову, Стас! Я спешу!

– Степняк, за превышение скорости и езду в нетрезвом состоянии вы арестованы!

– Да ты что??? Рехнулся? У меня тут... – начал Степняк и вдруг при виде сразу трех подкативших сюда же «Волг» областного КГБ и милиции все понял.

Машина КГБ остановилась на противоположной стороне и стояла нейтрально, никто из нее не выходил – вели наблюдение. А из двух милицейских выскочили сразу четверо ментов и бегом побежали на помощь Воронину, держа правые руки на задницах, на кобурах.

– Будешь оказывать сопротивление или так выйдешь? – спросил Воронин.

– Так выйду. – Степняк нагнулся, хотел взять свой портфель, но Воронин сказал упрещающе:

– Выходи без ничего, руки на голову!

Потом была комедия с вытрезвителем, проверка дыхательной трубкой на пары алкоголя. Потом – анализ крови с той же целью найти алкоголь в его крови. А когда наконец Степняк пешком пришел в свое угро, то узнал, что по приказу начальника областной милиции полков-

ника Рогулина руководители колхоза «Заветы Ленина» отправлены домой «до выяснения». Что начальник угро майор Кривонос срочной телеграммой вызван из Полтавы для проведения служебного расследования «о самочинных действиях следователя Степняка». И что следствие по делу о скоропостижной смерти Виталия Сташевского перешло в Управление Краснодарского областного комитета госбезопасности.

– А где мой портфель? – спросил Степняк у своего приятеля Воронина, арестовавшего его на Гагаринском проспекте.

– Какой портфель? – сказал Воронин.

– В «газике» был мой портфель с вещдоками...

Воронин сделал удивленные глаза:

– Не было там никакого портфеля. Ты его, наверно, потерял в дороге...

В тот вечер Василий Степняк пришел домой рано и сразу принялся точить во дворе, на точильном камне, старый германский штык, который достался ему от отца вместе с этим домом-хаткой.

– Че это ты? – спросила его Фаина с тем кокетством в голосе и в движении бедра, которое при других обстоятельствах заставляло Степняка бросить все, подхватить жену на руки и нести ее, весело болтающую ногами, в спальню, на кровать.

Но на этот раз он даже не повернул к ней головы. Наточив штык, он опробовал острие на ногте большого пальца, потом подошел к сараю, ногой откинул кочергу-подпорку, а левой рукой – крючок на двери.

– Васыль! – встревоженно крикнула ему Фаина.

Он не слышал. Он нагнулся к поросенку, который розовым пяточком доверчиво ткнулся ему в ноги, взял его крепко за левую ножку и опрокинул на бочок так быстро, что изумленный поросенок даже не успел взвизгнуть. А в следующую секунду острый штык уже вошел в нежную пороссячью шейку, но, видно, в последний миг у Степняка екнуло сердце и дрогнула рука – поросенок завизжал так, как визжат все недорезанные свиньи.

Конечно, испуганная Фаина уже бежала через двор и, конечно, из соседних хат повысывались любопытные соседи. Мол, кто ж это режет свиней в апреле?

Но Степняк не дал поросенку визжать дольше трех секунд. Злясь на свою оплошность, он с излишней даже силой рванул штык так, что одним движением отделил голову поросенка от туловища, и, не поворачиваясь к застывшей в двери жене, поднял эту тушку за заднюю ножку и дал крови стечь в корытце с остатками кукурузных початков.

– Ты шо – сдурел? – сказала Фаина.

Степняк и на это не сказал ни слова, а вышел из сарая во двор, затопил там кирпичную печь и стал тут же, на садовом столике, разделывать поросенка.

Через час на кухне он в полном одиночестве доел нежное мясо с жаренных на углях пороссячьих ребер, молча выпил полный стакан киевской «Перцовки», утер усы и губы и позвал жену:

– Фаина!

Она не отозвалась, сидя, обиженная, в соседней комнате у телевизора.

– Я кому сказал – поди сюда! – негромко, но властно приказал Степняк из кухни.

Она появилась в двери, демонстрируя свою обиду заострившимся в официальности лицом, отсутствием изгиба в бедрах и туго, в узел подобранной копной своих пышных волос.

– Все, Фаина Марковна! – усмехнулся Степняк, совершенно игнорируя ее обиженный вид. – Завязал твой Васыль со свининой. Перехожу на твою фамилию. Буду Васыль Шварц. Звучит? – И завершил, посерьезнев: – Значит, так, Фаинка. Заказывай вызов от своих родичей.

– Какой вызов, Вася? От каких родичей? – не поняла она.

– От израильских!

Она посмотрела на него изумленно:

– Ты шо, сдурел?

Он взял с полки второй стакан и налил себе до краев, а ей – до половины.

– Пей! Такую страну коммунистам бросаем – рай!

Теперь Фаина испугалась всерьез, уже без позы:

– Вася, шо ты задумал? Я никуда не поеду!

– Поедешь...

Он поднял на жену свои синие глаза, и она увидела в них такую жесткость, что разом обмякла и села на краешек стула. А он коротко, в минуту, рассказал ей всю историю.

– Вася, – произнесла она тихо, когда он умолк, – нас же не выпустят! Сгноят...

Он допил свою водку, поставил стакан. И сказал, не закусывая:

– Может, и сгноят... Но это ты сделала из меня следователя. Пока я *чуркой* был – кому я мешал? А теперь... Если я не уеду – они и мою штуку клеем зальют. Я ведь тоже под их дудку больше плясать не буду. Так что выбирай, душа моя. Или я тут без этой штуки, или...

Фаина смотрела на него в ужасе.

– Между прочим, – сказал он, – девушка у этого Сташевского действительно еврейка. Шульман фамилия. И как вы из нас самых лучших выбираете?

## Глава 3

### Воздух улицы Архипова

*Зачем израильским сионистам, задыхающимся в тисках жестокой экономической инфляции и не могущим обеспечить работой и жилищем своих собственных граждан, нужна еще и «привозная» молодежь? Израильским сионистам нужны не мы, а наши дети. Нужны как тушечное мясо для войн и непрерывных кровавых налетов, без которых в Израиле не проходит и недели.*

*Цезарь Солодарь, ж-л «Молодая гвардия», Москва, 1978*

*Известно, что как национальность лица еврейского происхождения регистрируются и официально признаются только в СССР...*

*Евгений Евсеев, «Фашизм под голубой звездой», Москва, 1971*

«Товарищи пассажиры! Наш поезд прибывает в столицу нашей Родины город-герой Москву. Вот уже восемь столетий Москва является историческим и культурным центром России, а с 1917 года – столицей советского государства и духовным центром всего прогрессивного человечества, оплотом мира во всем мире. Из маленькой деревни на берегу Москвы-реки, которую основал князь Юрий Долгорукий, Москва выросла в огромный город с населением в восемь миллионов человек. В Москве находятся руководители нашего государства, Центральный Комитет Коммунистической партии, Верховный Совет и другие правительственные учреждения...»

Борис Кацнельсон стоял в тамбуре общего вагона, в тесноте уже изготовившихся к выходу пассажиров. Сжимая в ногах свой маленький чемоданчик, он чувствовал, что от страха у него вспотели не только ладони и лицо, но даже колени. А в паху дрожит какая-то жилка и все подтягивается, подтягивается... Черт бы побрал это радио с его бодрым маршем и возвышенным голосом дикторши! Сейчас, под эту музыку, прямо на перроне его арестуют, схватят гэбэшники – заломят за спину руки, бросят в «черный ворон»...

И чем ближе подкатывал состав к вокзалу мимо каких-то складов, пакгаузов, клацая колесами на пересечениях путей, тем страшней становилось Борису. Почему-то там, дома, в Минусинске, миссия, с которой он отправлялся в Москву, казалась ему простой и нестрашной. Но по мере приближения к Москве маленький и щемящий душу страхок разлился, как вирус, по всему телу и знобил сердце и голову. Но куда ж теперь деться? Не бежать же по шпалам назад, в Минусинск! Впрочем, стоп! Есть путь к спасению!

Борис чуть присел (нагнуться в тесноте тамбура было уже невозможно), схватил ручку своего чемодана и, выставив вперед плечо, стал пропихиваться назад, в вагон.

– Куда ты прешь, падла! – сказал кто-то.

– Надо... извините...

При его весе под сто килограммов и росте метр семьдесят не так-то просто было протискиваться между забившими тамбур пассажирами с их чемоданами и рюкзаками. Но страх придал ему силы. Втягивая живот, напрягая шею, он буравил плечом пассажиров, перелез через какие-то чемоданы и сопливых детей и, оторвав пуговицу на своем пальто, все-таки достиг заветной двери с табличкой «ТУАЛЕТ». Сейчас он нырнет за эту дверь и там, в сортире, распорет подкладку своего пиджака, вытащит *список*, порвет его на клочки и спустит в унитаз. А

тогда – все, свобода! «Зачем вы приехали в Москву, Кацнельсон?» – «А просто так, посмотреть. У меня отпуск! Имею право!» И – выкуси! Никакой ГБ не страшен!

С этими мыслями он рванул металлическую ручку туалета, но... дверь не открылась.

– Приспичило? – насмешливо сказали рядом.

Борис молча и изо всех сил дергал ручку. Поезд – он чувствовал по стуку колес – уже замедлил ход.

– Что ты рвешься? Они еще в Ярославле сортиры закрывают! – сказали рядом.

Борис обмяк – все, пропал!

Тут откатилась дверь соседнего, служебного купе, из него вышла проводница, сказала громко:

– Москва! Освободите проход! Проход дайте!

Пассажиры, втягивая животы и груди, послушно вжались спинами в стены, и проводница, властно раздвигая их желтым проводничьим флажком, пошла к выходу.

– Будьте добры... – пресекаясь голосом сказал ей Борис. – Откройте туалет, пожалуйста!

– Еще чего! В Москве просрешься! – бросила она на ходу, даже не повернув головы, и весь тамбур радостно хохотнул на эту «замечательную» шутку. И, словно с официальной подачи, подхватили:

– Держи штаны, парень!

– Не дыши!

– Откройте окно! Он сейчас такой аромат нам сделает!

– Нет, вы подумайте! В Москву въезжаем, в столицу! А он...

– Так ведь жид! Жиды – они всегда так! В самую душу и насрут! Им что столица, что...

Борис не реагировал на оскорбления. Он их просто не слышал. Прижатый к двери туалета, мокрый от пота и страха, с каким-то разом расплюснутым, как блин, лицом, он смотрел в окно и видел медленно плывущий перрон и фигуры встречающих. Сейчас его арестуют, сейчас...

Поезд замер.

– Желаем вам всего доброго! – воскликнул радиоголос, и тут же на полную громкость врубилась песня:

Утро красит нежным светом  
Стены древнего Кремля.  
Просыпается с рассветом  
Вся советская земля!  
Кипучая! Могучая!  
Никем непобедимая!  
Москва моя, страна моя —  
Ты самая любимая!..

Под этот жизнерадостный марш еврейских композиторов братьев Покрасс пассажиры остервенело рванулись к выходу, словно тут, в Москве, их уже ждал коммунизм. Наступая Кацнельсону на ноги, ударяя его острыми углами чемоданов и толкая к двери:

– Ну, чо ты стал в проходе, итти твою жидовскую мать!

– Ты выходишь аль нет?

– Вот жидяра!..

Но у Бориса не было сил сделать к двери эти пять роковых шагов. А что касается антисемитских реплик, то они не трогали его сознание, он привык к ним за 24 года своей жизни, как лошадь привыкает к ударам хлыста. Даже у них, в Минусинске, последнюю пару лет можно

такое услышать, чего раньше никогда не было слышно во всей Сибири. Хотя на весь Минусинский металлургический завод евреев – всего три десятка. Но ведь московские газеты приходят полным комплектом. И в газетах каждый день и со всех страниц: «Осторожно: сионизм!», «В сетях сионистов», «Новая диверсия сионистов», «Диссиденты – агенты Сиона», «Наемные израильские провокаторы» и так далее. А уж если в Москве начали кампанию по разоблачению «скрытых фашистов-сионистов», то могли ли отстать сибирские газеты, горкомы партии и районные КГБ? Книжные магазины и библиотеки заполнились брошюрами «Сионизм – враг молодежи», «Тайны сионизма», «Сионизм – иудаизм без маски» и тому подобное. Лекторы обкома и общества «Знание» каждую неделю выступали в заводских цехах с докладами на те же темы. И вся эта масса полужашифрованной антисемитской пропаганды заставляла 80 тысяч жителей Минусинска непроизвольно оглядываться по сторонам в поисках своих, сибирских, скрытых агентов фашизма-сионизма. Тридцать еврейских семей все чаще ловили на себе пристальные взгляды и слышали пьяную антисемитскую ругань. Впрочем, сигнала «бей жидов» из Москвы еще не было, а без руководящего указа Россия уже и картошку разучилась выкапывать. Однако образ Москвы как центра, где каждый день арестовывают, разоблачают и судят сионистов, жил, оказывается, в Кацнельсоне и вырос по мере приближения поезда к Ярославскому вокзалу. И теперь этот страх не давал ему выйти на перрон.

Только когда все пассажиры вышли и проводница, оглянувшись, сказала ему изумленно: «Ты еще тут? Я ж те русским языком сказала: не открою! Беги на вокзал, пока штаны сухие!» – только тогда Борис, побелев лицом, осторожно, как к пропасти, подошел к выходу из вагона, к ступеньке-сходне.

И не поверил своим глазам – перрон был пуст, никакие гэбэшники не ждали его, не набросились ни слева, ни справа. Лишь какой-то грузчик катил мимо клацающую колесиками тележку с чемоданами.

Борис оторвал руку от поручня вагона, ступил на перрон, сделал шаг, второй, третий и, словно заново рожденный, вдруг весело зашагал к освещенному утренним солнцем Ярославскому вокзалу. Его душа и ноги сами подстроились под гремевший из вагонов марш:

Холодок бежит за ворот,  
Шум на улицах слышней,  
С добрым утром, милый город,  
Сердце Родины моей!

Он никогда не был в Москве, у него не было тут ни одного знакомого и даже адреса знакомого какого-нибудь знакомого, к которому можно прийти с этим списком. Поэтому на привокзальной площади, забитой такси, автобусами, лязгом трамваев, криками «наперсточников» и шумом многотысячной толпы, прибывшей сразу с трех глядящих на площадь вокзалов, Борис терпеливо отстоял двадцать минут в огромной очереди к будке с вывеской «МОСГОР-СПРАВКА». А когда подошла его очередь, он уплатил дежурной пять копеек и сказал заветное слово, которое вез в себе от самого Минусинска:

– Синагога.

– Чаво? – не поняла дежурная, девка лет двадцати трех, завернутая в тулуп и три шерстяных платка и похожая на актрису Теличкину, которая в те годы во всех кинофильмах играла сельских молодок.

– Адрес мне. Синагоги, – зажато сказал Кацнельсон, снова потев от сознания, что вся очередь у него за спиной слышит его.

– А чаво это – «сига...»? – Дежурная даже не смогла вымолвить это слово.

– Ну, это... ну, это церковь такая... еврейская... – превозмогая себя, выдал Кацнельсон.

– Да ты не знаешь, что ли? – весело объяснил дежурной какой-то мужик из очереди. – Это где жида молятся!

– По религиям мы справок не даем! – заявила «Теличкина», враз посуровев своим комсомольско-румяным лицом. – Следующий!

– Подождите! – уперся Кацнельсон, ухватившись рукой за окошко. – Как же так?

– А так! У нас церквя отделены от государства! Отойдите от окна! Следующий! – приказала «Теличкина».

– Действительно! – возмутилась какая-то тетка рядом с Кацнельсоном. – Люди, понимаешь, со всей страны по делам в Москву приехали, а этот! Вали в свой Израиль, синагога! – и пышным бедром боднула Бориса в бок с такой силой, что он отлетел от окошка «Мосгорсправка».

– Скорей бы уже арабы им шеи свернули, – поддержала очередь.

– Гитлер их не добил, к сожалению...

– Ну вы подумайте, как обнаглели! Сионист несчастный!..

Борис в растерянности пошел прочь от «Мосгорсправки». Что ж ему делать теперь? Куда идти? Как узнать, где синагога?

– Эй, земля! Тебе куда ехать? – остановил его громкий голос. Борис посмотрел в ту сторону, откуда звали.

С десяток таксишных «Волг» с «шашечками» стояли у тротуара. Возле машин курили водители, наметанным взглядом высматривая пассажиров «на дурика». Кацнельсон знал, что этим шоферам доверять нельзя, по русской провинции уже давно шла слава про московских таксистов, которые от Ленинградского вокзала до Казанского, то есть через площадь, везут несведущих провинциалов через всю Москву. Но теперь у Бориса не было выхода. Он шагнул к стоянке.

– Куда поедет, друг? – громко сказано один из таксишников, молодой, с наглыми цыганскими глазами.

– Мне это... мне...

– Ну рожай! Рожай! – подбодрил «цыган» под хохоток приятелей.

– Мне синагога нужна, – сказал Кацнельсон зажато, вполголоса.

– Двадцатник! – легко объявил «цыган». – Садись.

Борис знал, что это много, что его надувают «по-черному», но... он сел в машину. В конце концов он приехал сюда не только на свои деньги, и если разделить двадцать рублей на шестнадцать имен, которые в его *списке*...

Между тем «цыган» уже сел за руль, завел двигатель и рывком отчалил от тротуара.

– Значит, в Израиль собрался? – сказал он Кацнельсону.

Борис обмер: все, попался! Боже мой, ведь говорили ему дома – не бери такси, все московские таксишники – гэбисты!

– И правильно! – сказал шофер. – Кабы я был евреем – давно бы смотался! Хули делать в этой стране?

Провоцирует, понял Борис. Провоцирует и на магнитофон пишет. Сейчас привезет прямо в КГБ, и...

– Главное, у меня, мудака, тоже был шанс! – продолжал словоохотливый водитель. – По мне одна жидовочка три года сохла! Я ее перед армией трахнул, так она меня до дембеля ждала, все надеялась, что женюсь! А я, мудака, послал ее подальше, несмотря, что в постели она – конец света! А я на хохлушке женился. И надо же – через год вам эмиграцию открыли! Я к своей еврейке, конечно! А она уже на вещах сидит, с билетом на Вену! Я ей: подожди, я разведусь в неделю! А она плачет, да поздно – через два дня виза кончается. Так и уехала! Может, ты ее встретишь там. Роза Фридман фамилия, запомнишь?

Ага, подумал Борис, подсекает!

– А с чего вы взяли, что я в Израиль собираюсь? – сказал он тоном оскорбленного советского гражданина.

– А то нет! – заявил шофер. – Что я тебя – первого в синагогу везу? Таких каждый день со всей страны по сотне приезжает! Чтобы через эту синагогу израильский вызов заказать. Правильно?

Пытаясь понять, где же они едут (ой, это же памятник Дзержинскому!), Кацнельсон как можно холодней пожал плечами:

– Не знаю. Лично я еду свечку поставить в память о бабушке. Сегодня годовщина его смерти...

Эта «легенда» была придумана загодя, еще в Минусинске, когда Кацнельсон готовился к своему путешествию.

– А что – разве евреи тоже свечки ставят покойникам? – спросил шофер.

Этого Борис не знал. Никогда в жизни он не был в синагоге, не держал в руках ни Торы, ни молитвенника, а вся его принадлежность к еврейству сводилась лишь к одному слову, записанному в пятой графе его паспорта: национальность – еврей.

Однако ответить на вопрос шофера ему уже не пришлось – машина остановилась посреди короткой, круто уходящей вверх улочки имени Архипова. Рядом, на тротуаре, толпились какие-то бородатые мужчины и женщины в длинных юбках и косынках на головах. За ними было трехэтажное желтое здание с каменным крыльцом, круглыми колоннами и красивой дверью без всякой вывески.

– Синагога. Двадцать рублей! – сказал шофер, выключил счетчик и требовательно протянул руку за деньгами. Борис посмотрел на счетчик. В прорези выскочила цифра: «1 руб.80 коп.». Да и ехали они не больше трех минут.

– Так ведь рупь восемьдесят! – сказал он водителю.

– Ты хочешь, чтобы я тебя на двадцатник по всей Москве возил? Пожалуйста! – легко воскликнул шофер. – На двадцатник я тебя как раз до закрытия синагоги накажаю! Любимую Родину на прощанье посмотришь! Ехать?

Борис сунул руку за пазуху, в нагрудный карман пиджака, нащупал там четыре пятерки и, отпихнув пальцами остальную пачку, вытащил двадцать рублей.

– Веселая у тебя работа! – сказал он.

– Ага, – сказал «цыган». – Махнемся? Ты мне свой еврейский паспорт, а я тебе свою работу. А?

– Спасибо. Не надо, – усмехнулся Борис и вдруг – впервые в жизни! – почувствовал прилив еврейской гордости. Ему – завидуют! Он уже открыл дверцу, чтоб выйти из машины, когда шофер сказал:

– Ты запомнил? Роза Фридман. Чернявая такая. Если встретишь, привет передавай.

Это новое чувство расправило Борису плечи. Впервые за все четверо суток путешествия от Минусинска до Москвы он не только освободился от страха, но улыбался и не мог согнать с лица эту гордую, радостную улыбку. Надо же! Там, в сибирской глухомани, в Минусинске, три десятка евреев-инженеров шепчутся об эмиграции *тайком*, закрывая окна и двери, иные скрывают свое еврейство даже от собственных детей, а здесь, в Москве, в той самой Москве, которая клеймит и разоблачает международный сионизм, об эмиграции говорят открыто, да что там говорят – завидуют им, евреям!

Он посмотрел на стоявших у синагоги людей. Таких *откровенных* евреев он тоже видел впервые. В детстве, когда он жил с родителями в Туркмении, его родители и их еврейские друзья даже дома носили туркменские халаты, говорили при встрече «Салам алейкум!» и не по еврейской, а по мусульманской, туркменской традиции не ели свинину и не пили водку. В Свердловске, когда он учился в политехническом институте, все студенты с еврейскими фамилиями «окали», как русаки, и старательно налегали на дешевую свиную тушенку. А в Мину-

синске евреи-металлурги хлещут водку и спирт стаканами, откармливают в сараях свиней, охотятся в тайге на кабанов и после каждого второго слова прибавляют сибирское «то»: «Я-то тебе-то сказал-то...» Нужно быть тонким и даже изощренным антисемитом, чтобы не по паспорту, а по внешнему виду узнать евреев в этих сибиряках, уральцах, волжанах...

А тут, в Москве, в самом центре «оплота всего прогрессивного человечества» – рядом с площадью Дзержинского! – эта вызывающе пейсатая, бородатая толпа, сто, а то и более мужчин в каких-то темных длиннополых пиджаках и в кепеле на головах. А на груди у безбородых юношей, в их открытых воротах, ярко блестят золотые цепочки с шестиконечными звездами! И женщины тут! И дети! А язык! На каком языке они говорят? Господи, неужели это... иврит? В Москве, на улице, открыто – иврит???

Еще не понимая, как он, сибирский валенок, может сочетаться с *этими* евреями, но уже чувствуя себя не одиноким *жидом*, против которого 260 миллионов советских людей плюс все остальное прогрессивное человечество, а среди своих, друзей, союзников, Кацнельсон непроизвольно сделал глубокий выдох. Словно доплыл до спасительного берега. И – в уже освобожденные от страха и 24-летнего гнета легкие – набрал совсем другой, столичный, что ли, воздух. Воздух улицы Архипова.

Низенький рыжебородый еврей в открытом черном пальто, с белыми шнурками из-под пиджака и какими-то тонкими черными кожаными ремешками в руках остановил его в двери синагоги:

– Аид?

Кацнельсон вдруг с радостью вспомнил, что *знает* это слово. Но он не знал, как сказать по-еврейски «да», и поэтому только вальяжно, как сторожу на заводской проходной, кивнул рыжебородому с высоты своего роста и прошел в синагогу.

К его удивлению, внутри синагоги людей было значительно меньше, чем снаружи. В центре большого молельного зала стояли человек сорок мужчин, в основном старики. Они держали в руках молитвенники, усердно, как дятлы, раскачивали взад и вперед седыми головами в кепеле и бормотали какие-то негромкие гортанные слова:

«Эйн кейлохейну, эйн кадонейну,  
Эйн ксмалкейну, эйн кемошйну...»

Стихи какие-то, подумал Кацнельсон, снял шапку и поверх голов молящихся посмотрел в глубь молельного зала. Там лицом к молящимся стоял коренастый и, к удивлению Кацнельсона, молодой, не старше сорока, раввин в черном костюме. Он читал молитвенник. Рядом с ним и тоже лицом к залу молились два огромных еврея, удивительно похожих не то на грузин, не то на армян. За их спинами, в стене, был высокий стеклянный шкаф. Дверцы этого шкафа были украшены цветным витражом, а за стеклом стояли какие-то свертки и лежала на подушке какая-то книга.

Интересно, подумал Кацнельсон, почему этот старый еврей, стоящий поблизости, уже несколько раз оглянулся с явным осуждением в глазах? Борис осмотрел себя – нет, все на нем в порядке. И шапку он снял, как в церкви. Ладно, не будем обращать внимания.

– Ми кейлохейну... Ми кадонейну...

– Ми кемалкейну... Ми кемошейну... – невнятно неслось по синагоге, и Борис с ужасом подумал, что он никогда не выучит этот язык. Впрочем, ему и ни к чему, тут же успокоился он. Он не собирается молиться ни тут, ни *там*. Он только должен отдать *список* вот этому раввину.

И, уже не вслушиваясь в голоса молящихся, он запустил руку под пальто и пиджак, нащупал подкладку пиджака, шов. Черт возьми, как же он теперь отпорет эту подкладку, простроченную маминой швейной машиной? Мама так старалась, чтоб незаметно было, что это не фабричный шов!

– Ноде лейлохейну, ноде ладонейну, – раскачивался в молитве зал. – Ноде лемалкейну, ноде лемошейну...

Борис прошел пальцами до верха шва, до своего левого рукава. И с облегчением перевел дух – тут, под мышкой, где пропотело, заношенная ткань была слабой даже на ошупь. Нужно только чуть потянуть. Вот так... Нет, не рвется, сука! Нужно сильней...

– Барух Элохейну, барух Адонейну... – шелестели вокруг евреи. – Барух Малкейну, Барух Мошиэйну...

Неожиданно в ритмичный шепот молитвы ворвался громкий треск разрываемой ткани.

Евреи замерли, повернули головы к Кацнельсону, раввин посмотрел на него поверх очков.

Борис побледнел, но тут же и нашелся – по школьной выучке сам повернул голову назад, словно этот треск изошел не от него, а откуда-то из-за его спины.

– Ата ху Элохейну, Ата ху Адонейну... – продолжал раввин, и евреи, отвернувшись от Кацнельсона, подхватили в полный голос: – Ата ху Малкейну!.. Ата ху Мошиэйну!..

Пользуясь этим шумом, Борис, пропотев, дорвал подкладку своего пиджака и нашупал заветный список. Все, осталось только дожидаться конца их молитвы. Интересно, долго еще? Впрочем, он подождет. Он ехал четверо суток, а до этого еще полгода вынашивал эту идею! Он подождет...

– А теперь... – вдруг сказал раввин по-русски. – Честь выноса Торы мы передаем сегодня нашим грузинским евреям-братьям Ираклию и Семену Каташвили. Они пожертвовали на нашу синагогу каждый по две тысячи рублей! Прошу вас, Ираклий и Семен!

Раввин открыл стеной шкаф и со словами: «Ваеги бинсоа гаарон, ваемэр мошекума гашем...» – достал свиток в белом шелковом чехле с золотой вышивкой, передал его в руки двух грузинских евреев. Ираклий и Семен, с выражением значительности на своих усатых лицах, огромными, как клешни, пальцами в золотых перстнях осторожно приняли священную Книгу и стали обносить ею молящихся. А раввин шел за ними, говоря:

– Гадлулагашэм, ити унэромэма, шмо яхдав...

Каждый, к которому приближались грузино-евреи со свитком Торы, целовал ее шелковый чехол или трогал его белыми кистями, торчащими из-под их черных пиджаков. Когда свиток приблизился к Кацнельсону, ему не оставалось ничего другого, как тоже тронуть губами белый шелк ее чехла.

Закончив обход, раввин взял свиток у братьев из Грузии, положил его обратно в шкаф и запер этот шкаф ключом. И тут же толпа молящихся задвигалась, заговорила на разные голоса, и Кацнельсон понял, что утренняя служба закончилась. Он поспешил протиснуться к раввину.

– Извините, пожалуйста...

Раввин посмотрел на Кацнельсона поверх очков. В его светлых, чуть навывкате глазах было что-то знакомое, близкое, почти родное. И Борис уже смело шагнул к этому раввину, сказал открыто:

– Я из Сибири, из Минусинска. Нас шестнадцать человек, все инженеры. Мы хотим получить вызов из Израиля. Вот список с нашими адресами. – И он гордо протянул раввину заветный, вчетверо сложенный листок.

И вдруг раввин с такими родными, *еврейскими* глазами отшатнулся от него, вскинув руки, и закричал:

– Вы что?! Вы что тут себе позволяете! Это провокация! Мы тут такими вещами не занимаемся!

– Это не провокация... Я честно... Я из Сибири... – испуганно залепетал Кацнельсон, глядя на разом повернувшихся к нему евреев.

– Вон отсюда! Вон! – гневной рукой показывал ему на дверь взбешенный раввин.

– Но как же это... как же нам эмигрировать... без вызова? – растерянно лепетал Кацнельсон.

Два брата грузино-еврея подошли к нему, взяли под локти своими стальными клешнями и потащили из зала, говоря тихо, но грозно:

– Ыди, ыди, провокатор!

– Да я еврей, клянусь! – крикнул в отчаянии Борис, стараясь упереться ногами в пол и повернуться к раввину. – Я Кацнельсон! Кацнельсон я! Вы понимаете?

Никогда в жизни он еще не выкрикивал свою фамилию в надежде, что именно она его спасет! Наоборот, он всегда стеснялся произнести ее вслух, а в детстве все допытывался у дедушки, почему тот не сменил ее на что-нибудь красивое, звучное, русское. Ведь в двадцатых годах это было так просто! Не то что сейчас!

– Тыхо! – сказал Борису один из братьев грузино-евреев. – А то абрезание сделаем, сразу будэшь Кацнэлсон!

Борис заплакал в отчаянии. Он всю жизнь страдал из-за того, что он еврей: любой русак, украинец и даже туркмен с первого взгляда опознавал в нем жида – час назад в поезде весь вагон обзывал его жидовской мордой! А здесь, в синагоге, куда он ехал через всю страну, его сочли неевреем, провокатором, гэбистом...

– Паспорт! – вдруг вспомнил он. – У меня же паспорт есть! Там записано!

Но могучие грузино-евреи уже вышвырнули его из синагоги прямо на улицу. И вслед – его чемоданчик.

Вся толпа евреев – все сто человек, которые стояли на тротуаре, повернулись к нему и стали молча рассматривать его в упор, с брезгливостью и презрением в глазах. А один из них – какой-то лохматый молодой хиппарь с гитарой – даже насмешливо бряцнул по струнам, когда Кацнельсон, выброшенный из синагоги, «приземлился» на все свои четыре конечности. Но он не уйдет отсюда, нет! Он ехал сюда через всю страну! Весь Минусинск послал его с этой миссией! Нет, он не уйдет отсюда!

Борис сел на свой чемодан, вытер лицо и с ответным вызовом посмотрел на этих *жидов*. Вот вам хер! Вы евреи – и я еврей! Вы хотите уехать, и я хочу уехать! А то, что мне раввин не поверил, – ну что ж! Может, это и правильно! Мало ли провокаторов может подослать КГБ в синагогу, чтобы потом обвинить раввина в сионистской пропаганде и нелегальных связях с Израилем! Но он, Кацнельсон, докажет этому раввину, что он не провокатор! Он предъявит паспорт с пятым параграфом «национальность – еврей» и с минусинской пропиской!..

– Аид? – прозвучало рядом.

Борис поднял лицо. Перед ним стоял тот самый рыжебородый, который пробовал остановить его при входе в синагогу.

– Да! Аид! – с вызовом ответил Кацнельсон.

– Как отца звать?

– Игорь!

– А мать?

– Ольга!

– Кто же из них еврей?

– Оба! Я Кацнельсон! Вот мой паспорт! – Борис полез в карман пиджака.

– Подожди, не кричи. Не нервничай, – сказал рыжебородый. – Дедушку как зовут?

– Моисей. Он умер.

– А бабушку?

– Ребекка...

– Ну, вот это имена! Другое дело! – обрадовался рыжебородый. – Тфилим наденешь?

– А что это?

Рыжебородый не стал объяснять. Из бездонных карманов своего черного не то пальто, не то сюртука он извлек тонкие черные кожаные ремешки, на которых держалась крохотная кожаная коробочка. Эту коробочку он приложил ко лбу Кацнельсона, а тонкие кожаные ремешки обвил вокруг его головы. При этом, сокрушенно качая рыжей головой, сказал:

– Какой же еврей в синагоге шапку снимает! Ай-ай-ай! Все забыли!..

Только тут до Бориса дошло, почему его, Кацнельсона, в котором любой сибирский валежник узнает еврея, приняли в синагоге за провокатора.

– Повторяй за мной! – приказал рыжебородый. – Барух Гашем... .

– Подождите! – сказал Борис. – А как же вызов! Я же приехал, чтоб вызовы заказать.

– Тише. Не кричи. Ну, сделаем мы вам вызовы. Давай твой список. – И рыжий быстрым, как у фокусника, жестом обронил минусинский список в свой бездонный карман. – Повторяй за мной. Барух Гашем Элухэйну... .

– Барух Га-шэм Элу-хэйну... – неслушающимся языком повторил Кацнельсон.

– Леаниах тефелин... .

– Леаниахтефелин... – вторил Кацнельсон. Вокруг стояли евреи, смотрели на него и рыжебородого.

– Аль мицват тефелин... .

Кацнельсон встретил взгляды этих евреев и вдруг встал.

– Леаниах тефелин! – сказал он громко.

– Шэма Исрайэл... .

Борис набрал в легкие воздух улицы Архипова и выдохнул еще громче:

– Шэма Исрайэл!

– Зачем кричать? – вдруг сказал рыжебородый по-русски. – Он тебя и так слышит. Говори: «Адонай Элохейну, Адонай Эхад!»

– Адонай Элохейну, Адонай Эхад!.. – изумляясь себе, вторил Борис на иврите.

Был март 1978 года. Вокруг была Москва, столица СССР и оплот всего прогрессивного человечества. В центре оплота стоял Кацнельсон Борис Игоревич, 24-летний еврей из сибирского города Минусинска. Он читал «Шэма Исрайэл» – «Слушай, Израиль: Господь наш Бог, Господь Един!..» Хиппарь с гитарой одобрительно качал головой в такт его молитве.

## Глава 4

### Операция «Миллион на таможне»

*Сионистская агентура активизировалась... Перед ними была поставлена задача проникнуть в идеологические учреждения, в партийный и государственный аппарат... играть роль «убежденных коммунистов» и исподтишка осуществлять эрозию социализма. И они умело втирались в доверие, занимали ключевые позиции, преследуя единственную цель: расширять, разрушать, дискредитировать социалистический строй.*

*В. Емельянов, «Сионизм без маски», ж-л «Наши современник», Москва, 1978*

*И у животных, и у человека половая любовь есть высший расцвет индивидуальной жизни.*

*Владимир Соловьев, «Смысл любви»*

– Ваша фамилия?

– Моя фамилия? – Анна усмехнулась. Этот идиот знает ее уже одиннадцать лет, а все не может запомнить фамилию! – Моя фамилия Сигал. А ваша?

Кузьяев, начальник отдела кадров президиума коллегии адвокатов, злобный хорек с крупными ушами и красными глазками тайного алкоголика, изумленно поднял взгляд от ее личного дела:

– Разве вы не знаете мою фамилию?

– Конечно, знаю. И вы мою знаете. Вы же мне сами звонили. – Анна скосила глаза на мужчину, который чуть улыбнулся, слушая этот разговор. Пятидесятилетний, с крупным холемым лицом, короткой стрижкой, в дорогом синем костюме, кремовой рубашке, импортном галстуке, он молча сидел у окна, в стороне от стола Кузьяева, и держал на лице выражение стороннего наблюдателя. Но это ничего не означало. С первого момента, как Анна зашла в кабинет Кузьяева, она поняла, что ее вызвали сюда именно ради него. Кто же он?

Кузьяев кашлянул в свой кулачок с прокуренными пальцами.

– Давайте сначала уточним ваши анкетные данные. Сигал Анна Евгеньевна. 1942 года рождения. Русская. Беспартийная. Образование высшее юридическое. Замужем вторым браком...

Он говорил чуть громче, чем нужно для того, чтобы его слышала Анна, то есть явно для слуха этого мужика. Анна терялась в догадках. Это не повышение и не предложение новой должности – она знала в президиуме коллегии всех начальников, этот тип не отсюда. Но тогда зачем Кузьяев читает ему ее анкетные данные?

– Должность – адвокат, член коллегии адвокатов Фрунзенского района Москвы. За время работы участвовала в ста семнадцати судебных процессах, из которых выиграла тридцать два...

«Неужели?» – внутренне изумилась Анна. Она уже лет пять, как перестала вести учет своим профессиональным победам и поражениям, но, оказывается, этот хорек вел! Что ж, 32 выигранных процесса в этой незаконной стране – совсем неплохой счет, Анна Евгеньевна! Но что он так зырится, этот тип? Зырится и дыбится, слушая старательного Кузьяева.

– Муж, Сигал Аркадий Моисеевич, доктор наук, заведующий лабораторией НИИ сверхлегких металлов Министерства тяжелого машиностроения, член КПСС...

И тут Анну осенило: ее продают! Этот тип – из Инюрколлегии, он хочет забрать ее к себе, и Кузьяев, что называется, «показывает товар лицом». Хотя – стоп, она же не знает ни одного

иностранного языка! А Инюрколлегия ведет дела только с западными странами – наследственные, арбитражные... Но тогда кто же этот тип?

– Сын Антон от первого брака проживает с отцом...

Тут незнакомец нетерпеливо поерзал в кресле, и Кузьев, чуткий, как все бюрократы, к телодвижениям начальства, прервал себя на полуслове, посмотрел на него вопросительно.

– Я думаю, это излишне, Иван Петрович, – сказал тот. – Вы забыли нас познакомиться. Анна Евгеньевна, меня зовут Роман Михайлович Гольский, я из органов безопасности. Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете отношения с Максимом Раппопортом?

У Анны сжалось сердце и рухнуло вниз. Но она тут же взяла себя в руки. Какого черта! Они не имеют права лезть в ее частную жизнь!

И с тем спокойствием, с тем надменным спокойствием, которое она воспитала в себе для судебных поединков с прокурором, Анна вскинула на этого толстяка свои большие серо-синие глаза одной из самых красивых женщин Москвы.

– Разве мои отношения с мужчинами угрожают безопасности нашей Родины?

Гольский расхохотался. Это было так неожиданно – его открытый, громкий смех, и где – в кабинете Кузьева! Сам Кузьев озадаченно захолопал ресницами на этот смех, а потом, на всякий случай, тоже улыбнулся – натянутой улыбочкой хорька.

Отсмеявшись и даже утерев слезы в углах глаз, Гольский подошел к столу, сел в соседнее с Анной кресло.

– Все ясно, Анна Евгеньевна! – сказал он. – Теперь я понимаю, как вы выиграли тридцать два процесса из ста семнадцати.

Но Анна продолжала держаться отстраненно, контролируя каждый мускул лица. В чем дело? Почему вдруг всплыл Максим?

– Иван Петрович, организуй нам кофе, голубчик, – сказал Гольский Кузьеву, обращаясь к нему на ты и с тем особым барским «голубчик», который сразу обозначил и полную зависимость хорька от КГБ, и его, Гольского, высокую в этой фирме должность. Потому что никто, даже сам председатель президиума коллегии адвокатов, не смел говорить хорьку «ты». Впрочем, кто же не знает, что во всех учреждениях начальники отдела кадров – это номенклатура *органов*?

– Один момент... – сказал хорек и, прихрамывая на правую ногу, раненную, как все знали, во время войны, вышел из кабинета.

Гольский проводил его взглядом, повернулся к Анне:

– Нет, Анна Евгеньевна, ваши связи не угрожают безопасности нашей Родины. Тем более что мистер Раппопорт – это дело прошлое. А кто прошлое помянет, тому, как говорится, глаз вон...

На его губах еще была улыбка, но глаза уже давно не смеялись. «Теперь он пробует смягчить удар и подбирает ко мне ключи, – подумала Анна. – Чего он хочет?»

– Впрочем, – вдруг сказал Гольский, словно прервав себя, – что это я в самом деле? Как будто ключи к вам подбираю, а вы же сами – адвокат. И я, между прочим, тоже выпускник МГУ. Правда, я раньше вас закончил. Вы в 67-м, да?

– Что вы хотите? – холодно спросила Анна.

Он посмотрел на нее, выдерживая паузу и словно оценивая ее заново. Потом хмыкнул не то озадаченно, не то удовлетворенно, вытащил из кармана пиджака очки, надел их, но посмотрел на Анну не через стекла, а поверх дорогой роговой оправы, потом решительным жестом снял эти очки и сказал:

– Ну что ж, давайте к делу, действительно. Я, честно говоря, подготовился к длинному и осторожному разговору, но... Я вижу, что нам ни к чему ни Максим Раппопорт, ни, например... Впрочем, к черту! С вами нельзя играть в эти игры. Правильно?

Анна молчала. Этот Гольский хочет показать, что знает всех, с кем она спала. Но это не их собачье дело. Хотя, с другой стороны, интересно, как давно они ее ведут? Начиная с Раппопорта или еще раньше?

– И вообще, мне кажется, я плохой знаток психологии, особенно женской, – продолжил Гольский. – Я-то хотел, чтобы у нас было дружеское знакомство, а вы как-то сразу замкнулись. И это моя, дурака, вина. Честно говоря, когда я встречаю таких ярких женщин, я робею и оттого сразу беру неправильный тон. Особенно если на столе пусто. Где этот поц? – И он с досадой повернулся к двери. – Ага, наконец-то!

В открывшуюся дверь, обитую темным, под кожу, дерматином, секретарша Кузьева вносила поднос с кофейником, чашками, коробкой шоколадных конфет и сахарницей. За ней, на втором подносе, сам Кузьев нес бутылку шестизвездного армянского коньяка «Арагат», рюмки и яблоки в неглубокой вазе.

«Ничего себе! – подумала Анна. – Яблоки в апреле!» Наверняка Кузьев сам стогнал на второй этаж в персональный буфет председателя президиума. Только там могут быть яблоки и коньяк. Но кто же тогда этот Гольский, черт возьми? Ради простого гэбэшника хорека не стал бы так стелиться...

– Вот это другое дело! – одобрительно сказал Гольский и небрежным жестом смел деловые бумаги на столе Кузьева, освобождая место для подносов. И взглянул на Кузьева: – Спасибо, голубчик. Ты, я знаю, курильщик, а у меня аллергия на дым. Так что можешь пока там покурить, в приемной...

– Конечно, конечно... – ответил Кузьев и, прихрамывая меньше, чем обычно, поспешно ретировался за дверь.

Только тут Анна вспомнила, что Гольский назвал этого хоряка еврейским словом «поц». Неужто он еврей? В КГБ есть евреи???

– Вам коньяк в кофе или отдельно, Анна Евгеньевна? – спросил Гольский, держа на весу, над рюмкой уже открытую бутылку «Арагата».

– Кто вы? – спросила она, глядя ему прямо в глаза.

– Моя фамилия Гольский, Роман Михайлович...

– Это я уже слышала. Вы из КГБ. И вы хотите, чтобы у нас было дружеское знакомство. Зачем?

Он выдержал ее взгляд и улыбнулся без раздражения:

– Вам коньяк в кофе или в рюмку?

Гм, подумала Анна. Она любила таких спокойных мужчин, которых нелегко вывести из себя. В этом всегда был какой-то вызов, мимо которого она не могла пройти спокойно. Вот и теперь она выпалила с сарказмом:

– Если вы действительно готовились к нашему знакомству, то должны были изучить мои привычки. Мне коньяк в кофе или в рюмку?

– Ну, я не так досконально... – несокрушимо улыбнулся Гольский и налил коньяк в рюмку. – К сожалению, этот хорека дал нам не коньячные рюмки. Ну да Бог с ним. Прошу!

Анна еще колебалась – взять рюмку или начать с нейтрального кофе? – но уже ощутила острую потребность закурить. Она не представляла, как можно без сигареты пить кофе, а тем паче коньяк.

И тут, словно он опять прочел ее мысли, Гольский вытащил из кармана пачку «Dunhill» и стильную золотую зажигалку.

– Прошу вас!

Анна не смогла сдержать улыбки. Он выгнал хоряка под предлогом аллергии на дым, а сам – курильщик!

Она взяла рюмку с коньяком и сразу пригубила, чтобы не дать ему повод чокнуться с ней. Затем достала из сумочки свои сигареты «Marlboro», закурила от услужливо протянутой зажигалки и сказала, откинувшись в кресле:

– Слушаю вас.

Этими позой и тоном она как бы ставила себя в *превосходящее* положение. Но его только позабавила эта уловка. Он закурил свой «Dunhill», отпил коньяк и спросил:

– Анна Евгеньевна, вы никогда не задумывались, почему все ваши друзья – евреи?

Он сделал такое ударение на слове «друзья», что лучше бы прямо сказал «любовники». Анна взорвалась, но профессиональная выучка выручила и на этот раз. Она только глубоко затаилась, перед тем как ответить. Конечно, она знает, почему все ее мужчины были, есть и скорей всего всегда будут евреями. По той же причине, по которой она стала адвокатом: Тот, *Первый*, который сделал ее женщиной и которого она тогда, в пятнадцать лет, любила без памяти, был не просто евреем, а знаменитым в Москве адвокатом. И после него Анну уже всегда тянуло только к таким же, как он, незаурядным мужчинам, и не ее вина, что все они оказывались евреями и компании их были еврейскими. Впрочем, что же странного было в этой тяге молоденькой девушки к ярким мужчинам? Станным скорей могло быть другое – что их тянуло к ней. Но и тут было простейшее объяснение. Она была красива. В юности она была так красива, что прохожие оглядывались на нее на улицах, несколько кинорежиссеров всерьез приглашали ее попробоваться на главные роли в кино, а однажды, еще лет двадцать назад, когда она шла по улице с Ним, *Первым*, их обогнали два подвыпивших мужика, и один из этих мужиков, оглянувшись, громко сказал другому: «Вот едрена мать! Ну как красивая девка, так обязательно с жидом!»

Теперь этот Гольский, гэбэшник, повторил тех алкашей.

Анна затаилась сигаретой, сказала:

– А что? Я должна советоваться с КГБ, с кем мне... *дружить*? – И нажала на это слово так, чтобы у него не оставалось сомнений, что она имеет в виду. – Или на это у нас тоже процентная норма?

Гольский озадаченно потер губы ухоженными пальцами.

– Ну-ну... – произнес он. – Два ноль в вашу пользу. А ведь у нас дружеская беседа, и я хотел вас просто предупредить.

– О чем?

– От ошибок. Вы же знаете, что сейчас некоторые люди еврейской национальности эмигрируют на Запад. Кто – на их *историческую* родину... – слово «историческую» он произнес с явной иронией, – а кто – просто в Америку. Как ваш первый муж, например...

У Анны екнуло сердце и снова поплыло вниз, в глубину. Все ясно. Это по поводу израильского вызова-приглашения, который Аркаша нашел в их почтовом ящике месяц назад. Но они не заказывали этот вызов! Они не такие идиоты, чтобы заказывать израильский вызов *по почте*! И в тот вечер она даже поспорила с мужем, что же с этим вызовом делать? Аркадий хотел отнести вызов в партком, доказывая ей, Анне, что это *провокация* органов. «Органы, – говорил он, – сами через подставных евреев заказывают израильские вызовы евреям-ученым и ждут – сдадим мы их или будем держать „на черный день“. Так они проверяют нашу лояльность и планы на будущее». «Но это же стыдно, Аркадий! – говорила тогда Анна. – Это же детский сад! Ты, лауреат Государственной премии, доктор наук, побежишь, как мальчишка, в партком с этой бумажкой? Неужели они не понимают, что с твоими допусками ты даже думать не можешь об эмиграции! А если бы думал, то уж наверняка получил бы такой вызов не по почте! Даже последний дурак знает, что все эти вызовы сначала проходят через КГБ!» – «Но если я не заказывал вызов и ты не заказывала, то кто?» – «Не знаю... – сказала Анна. – Может быть, Антон?»

Но она сама не верила этому. Антон, ее сын, уехал с ее первым мужем еще семь лет назад и с тех пор не прислал даже открытки...

А теперь оказывается, что Аркадий, как всегда, был прав. Они такие идиоты в этом КГБ, и Аркадий *должен* был отнести тот вызов в партком.

– Но конечно, ваш нынешний муж вне подозрений! – сказал вдруг Гольский. – Мы знаем, что он получил вызов, но не отнес его ни в партком, ни в райком партии. И правильно сделал, между нами говоря. Я всегда был против такой унижительной формы проверки крупных ученых. Но с другой стороны, Анна Евгеньевна, что бы вы сделали в нашем положении? Сейчас в стране на руках у людей еврейской национальности больше *двухсот тысяч* израильских вызовов. Причем некоторые, такие, как ваш муж и его друзья, занимают довольно высокое положение. И каждый из них в любой момент может преподнести нам этот фортель – подать на отъезд! И пожалуйста – из-за одного инженера, которому вдруг стукнуло в голову эмигрировать, останавливай важное секретное производство? Из-за писателя – типографию, ведь у некоторых по две и даже по три книги в наборе! Из-за сценариста, режиссера или актера – клади на полку фильм! Но государство уже миллионы потратило на этот фильм, на эти книги! А про секретные разработки и говорить нечего! Или недавно – вообще скандальный был случай: скульптор один – вы, конечно, слышали его фамилию или, может быть, знаете его лично – выиграл конкурс на памятник Ленину. И по его проекту в Целинограде на центральной площади воздвигли 17-метровую гранитную статую. Вы представляете? Но этого мало – памятник пошел в серию для строек коммунизма. Сорок семь памятников Ленину по его проекту по всей Сибири ставят! А он раз – и подал на отъезд! Ну? Как тут быть, Анна Евгеньевна? Снимать памятники? Это же *гевалт!*..

Анна молчала. Она не знала, кто этот скульптор, и ей плевать на эти сраные памятники, которыми они, как матрешками, уставили всю страну. И что бы ни говорил ей этот Гольский, что бы он тут ни плел и как бы мягко ни стелил даже *еврейскими* словами – это все равно про Аркадия и про то, что он не отнес израильский вызов в партком. Опять она его *подставила*. И за что? Уже три года они не живут супружеской жизнью, она еще тогда, в 75-м, честно пришла к Аркадию и заговорила о разводе, но он сказал: «Зачем, Аня? Если *он* уезжает, а ты нет, то зачем развод? Я против...» И они остались супругами-*друзьями*, и она получила полную свободу, которой, как ей казалось, пользовалась не так часто, чтобы это бросалось в глаза окружающим, а уж тем более органам. Но оказывается, бросилось...

– Теперь вы понимаете, Анна, в каком мы положении? – сказал Гольский, по-своему истолковав ее молчание и уже по-свойски опуская ее отчество. – Двести тысяч потенциальных... даже не знаю как сказать... Потенциальных дезертиров, так скажем. И даже хуже. Потому что сегодня он, например, в Подлипках создает систему космической навигации для ракет, а через два месяца – бац! – и он уже в Тель-Авиве делает то же самое для израильской армии. А с другой стороны, мы же не можем отстранить всех евреев от работы только за то, что на их имя пришел вызов из Израиля! Сионисты и ЦРУ, может быть, как раз того и ждут, чтобы мы своих ведущих ученых стали отстранять от важных проектов. Они тогда всех наших ученых и инженеров, даже русских, засыпят такими вызовами. Чтобы все наше хозяйство парализовать! Вот ведь какая получается ситуация! Понимаете?

Действительно, внутренне усмехнулась Анна. Замечательная идея! Почему бы Израилю в самом деле не нашлепать миллионов двадцать таких вызовов! Что будет делать ГБ, если и этому Гольскому, и Сулову, и Брежневу, и самому Андропову придут израильские вызовы?

Но вслух она сказала по-прежнему холодно и отстранение:

– Нет, я не понимаю. При чем тут я? Мы с мужем никуда ехать не собираемся! К тому же я не еврейка, как вы, конечно, знаете. Так о чем речь?

– Вот! – обрадованно сказал Гольский и одним глотком допил свою рюмку с коньяком. – Потому-то я к вам и обращаюсь, что не сомневаюсь ни в вашем, ни в вашего мужа патриотизме.

Вы дружите с евреями, вы яркая женщина, у вас широкий круг знакомств. Ученые, инженеры, адвокаты, дипломаты. Вы могли бы принести нашей стране пользу. Как ваш отец. Подождите. – Он жестом предупредил ее возмущение. – Никто не говорит, что вы должны доносить или, как сейчас говорят, *стучать* про тех, кто хочет уехать. Не об этом речь, Анечка. Тоже ничего страшного, между прочим, но мы рассчитываем на вашу помощь как раз в обратном. Мы хотим знать, кто НЕ собирается уезжать. На кого можно положиться хотя бы в ближайшие два-три года. Понимаете? Почему вы не пьете?

Анна обратила внимание, какими нервными движениями пальцев она погасила свою сигарету в пепельнице. Напрасно. Это же выдало тот жуткий, почти мистический колотун страха, который бьет ее с момента, как он назвал свою фирму. Но почему? Почему она так их боится? И какие скоты! Открыто, нагло, в лоб вербовать ее, члена коллегии адвокатов, жену Сигала, только потому, что ее отец когда-то служил в их проклятых органах! Или он думает, что может шантажировать ее Максимом Раппопортом?

– Вы знаете, Аня, – доверительно улыбнулся Гольский. – Мне сказали, что ваши друзья иногда называют вас не Анной Евгеньевной, а Анной *Евреевной*. То есть они вам доверяют, как своей, и наверняка обсуждают при вас – ехать им или не ехать. Нет, подождите! – Он поднял руку, снова предупреждая ее реакцию. – Я не прошу вас агитировать их ни «за», ни «против». И вообще можете не сообщать нам, кто хочет *ехать*. Ну едут – и Бог с ними, земля тут чище будет. Хотя именно из-за них, если хотите знать, и на таких, как ваш муж – то есть на тех, кто никуда не едет, а честно считает нашу страну своей Родиной, – на них тоже падает тень подозрения. И я вам скажу, почему ваш первый муж увез вашего сына в Америку. Потому что ваш Антон был в школе для одаренных математиков, выигрывал детские олимпиады, а мы практически перестали брать еврейских ребят в хорошие вузы. Да. Но что делать? Мы даем им бесплатное образование, каждый выпускник вуза стоит государству сорок тысяч рублей, а они получают наши дипломы и – фью, за границу! Инженеры, физики, врачи. Вы понимаете? И ведь какой парадокс: лучшие как раз и уезжают. Ну? Конечно, это несправедливо – вообще не принимать евреев ни в МГУ, ни в Бауманское, ни в Авиационный. Государство на этом теряет в первую очередь. Ведь евреи – народ талантливый, никто не спорит. Возьмите Ландау, Иоффе, Плисецкую, вашего мужа. А мы вынуждены терять новых Ландау, раз мы не принимаем их в институты. И эти потери огромные, я бы сказал – стратегические. Нужно решить какую-нибудь проблему оборонного характера, Устинов мне звонит и спрашивает, кого назначить – Абрамовича или Иванова? И что я должен сказать? Могу я поручиться, что Абрамович не закончит решение этой проблемы где-нибудь в Нетании? Вот я и прошу вас, Анечка, помогите! Не мне и не КГБ, нет. А вашим же друзьям. Если мы будем знать, что на них *можно* положиться, в этом нет ничего дурного. Разве это донос – сказать о честном человеке, что он честный? А?

Красиво, подумала Анна, как он красиво, сукин сын, все подстроил!

И она непроизвольным жестом взялась за рюмку, которую даже не заметила, когда выпила. Гольский мгновенно – но не суетливым, а каким-то артистически-барским взлетом руки – взял бутылку «Арарата» и долил в ее рюмку, одновременно заполняя паузу еще более доверительной интонацией:

– Я вам больше скажу, Аня! Откровенно, честное слово! Вот сейчас приближается 110-я годовщина рождения Ленина. А лучшие фильмы о Ленине сделали в свое время евреи – Каплер, Юткевич, Донской. Но теперь вопрос: кому поручить создание новой Ленинианы? Доверишь какому-нибудь Герману или Авербаху, а они, как тот скульптор, сделают фильм и – за границу! Это же скандал! Вы понимаете, в какой мы ловушке?

– А если я откажусь?

– Ну зачем же так сразу, Анна Евгеньевна?! Я ведь на вас не жму. Хотя, честно сказать, мог бы. И по линии отца, и вообще... Вы сами понимаете, правда? Но у нас дружеская беседа, и я даже не прошу вашего ответа сейчас, сегодня. Я ведь понимаю, что это неожиданно, что

вам нужно собраться с мыслями. Вы же адвокат. Даже когда дело касается ваших клиентов, вы не принимаете решений, не обдумав всех последствий, верно? Ну, а тут тем более, вы взвесите *все*, все *pro* и *contra*. А через недельку я вам позвоню, и мы опять поболтаем. Не здесь, конечно, а в нейтральной обстановке. Главное, Анечка, поймите: я не прошу вас быть доносчицей. И, если вы заметили, не покупаю вас соблазнами высокой карьеры. Хотя, как вы знаете, у нас есть возможности влиять как на взлеты, так и на падения карьер. Но вы не из тех женщин, которых покупают. Поэтому я предлагаю вам просто помочь вашим друзьям сохранить работу и репутацию людей, на которых может положиться наше государство. По-моему, это даже благородно. Разве нет?

Надо встать, подумала Анна, надо встать и послать его к чертям собачьим. «По линии отца» – какая сволочь! Нет, надо послать еще грубей, матом, чтобы сразу отрезать. Послать – и уйти. Ну, Аня!..

Но какая-то сила, гипноз той фирмы, которую так вальяжно представляет этот Гольский, удержали ее в кресле.

А он снова расценил ее молчание по-своему, улыбнулся самодовольно и чокнулся своей рюмкой о ее рюмку.

– За знакомство, Анна Евгеньевна! Я уверен, что вы правильно решите эту задачу. Вот моя визитка. Можете звонить мне в любое время. А что касается этого... ну, вызова, который получил ваш муж, – вы его выбросьте от греха подальше, ладно? – И он прямо, в упор посмотрел Анне в глаза. Словно уже отдавал приказ.

В коридоре президиума был слышен стук пишмашинки, а в фойе, у парадной двери, молоденький дежурный милиционер читал «Вечернюю Москву» с большой карикатурой на Генри Киссинджера и заголовком «На службе сионизма». Анна вышла на Неглинную и только тут почувствовала, как она устала. В голове не было ни одной мысли, курить хотелось смертельно, и она открытым ртом глубоко перехватила воздух. Было такое чувство, словно она только что с трудом вынырнула из-под тяжелой океанской волны – обессиленная и оглушенная. А здесь, на берегу московской мостовой, никто и не знал о существовании того, подводного, мира. По асфальту мчались и гудели машины, на углу Неглинной и Петровского бульвара шестнадцатилетние девчонки в коротких, уже весенних платьях ели эскимо, у кафе «Шоколадница» люди раскупали первые весенние мимозы, возле кинотеатра «Россия» очередь змеилась к кассам на новый фильм с Вячеславом Тихоновым, под окнами «Известий» небольшая толпа зевак рассматривала свежие фотографии несчастных палестинцев, страдающих на оккупированных Израилем территориях, а на площади Пушкина брэнчала гитара и молодежь толпилась у памятника в ожидании свидания. Мимо, по улице Горького, шла яркая, праздная, весенняя толпа – москвичи, туристы из провинции, иностранцы.

Еще недавно, пару часов назад, Анна была такой же, как они – со своей личной жизнью, со своими друзьями, со своей трудной, но интересной работой, со своей бьющей через край энергией, со своим гинекологом и со своими весенними надеждами на что-то новое, летнее, романтическое. И все это – даже работа, даже разговоры в тюремных изоляторах с преступниками, которых она бралась защищать в суде, – все это было ее, *частное*, на что никто не смел посягать. В *этой* своей жизни Анна жила легко, как рыба в воде: гоняла по Москве *свою* машину, тратила *свои* деньги, гуляла со *своей* собакой, дружила со *своим* кругом знакомых и спала с тем, с кем *сама* хотела. Но оказывается, – нет, оказывается, вот уже несколько лет (сколько – пять? десять? двадцать?) чей-то пристальный взгляд следил за ней, заносил в картотеку ее проигранные и выигранные процессы, любовные романы, отношения с отцом, знакомства, связи и, может быть, даже аборт – чтобы в нужный им момент опустить в воду сачок, вытащить ее и всадить ей под жабры тонкое, почти незаметное колечко-микрофон, а потом опять бросить в воду и сказать: плавай, плавай, но помни...

Анна даже не заметила, как перешла через улицу к площади Пушкина, как села на скамейку и закурила. Она не знала, следят за ней сейчас или нет, да и не хотела думать об этом. Пошли они в...

Хипповатый парень на соседней скамье брэнчал на гитаре трем девчонкам про «из окон корочкой несет поджаристой», весенняя толпа плыла в обе стороны Горького, но все они были для Анны уже другие, из другого, еще как бы свободного мира – они флиртовали, пели Окуджаву, покупали коньяк в магазине «Армения», мороженое у ВТО и мимозы у «Шоколадницы». Они жили естественно и просто, как хотели – «в любую сторону своей души». Впрочем...

Анна вдруг подумала, что нет – наверно, и в этой толпе десятки *меченых*. Она сунула руку в сумочку за новой сигаретой и наткнулась пальцами на жесткий маленький картонный квадрат, ее пальцы замерли на миг, а потом вытащили картонку:

### ГОЛЬСКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

Телефон 243-12-27

И – все. Ни названия организации, ни должности, ни адреса. Они везде и нигде. Конечно, они все знают об отце – это нетрудно. Но что они знают о Максиме? Почему Гольский начал разговор именно с него? Только для того, чтобы сразу послать ее в нокаут, зацепить под самое сердце, или еще почему-то? Впрочем, так или иначе, а в одном этот Гольский прав – нужно отстраниться отличного и холодно просчитать все pro и contra. Во-первых, «по линии отца». Но что они могут сделать отцу? Ничего! Ничего они ему не сделают, потому как что вы можете сделать алкоголику? И тем более бывшему зеку? Значит, здесь этот Гольский блефовал. Остается Максим. Да, с Максимом все сложнее, тут у них могут быть такие козыри, что не дай Бог. И следовательно, нужно стать адвокатом – адвокатом самой себе. Итак, Анна *Евреевна*, закурим...

Максим знал, что за ним следят. Конечно, ее роман с клиентом был нарушением неписаного правила профессиональных адвокатов. Еще в университете профессор Шнитке на своих лекциях кричал им с жутким гомельским акцентом: «Адвокат не имеет эмоций! Адвокат не имеет души! Адвокат не имеет пола! Вы поняли меня? Это вам не десять заповедей Моисея! Когда люди нарушают заповеди Моисея, они остаются людьми! Но когда адвокат нарушает заповеди Шнитке, он таки перестает быть адвокатом! Вы поняли меня, дети?»

Она поняла. И она никогда не нарушала заповеди профессора Шнитке. Кроме единственного клиента по фамилии Раппопорт. Для Раппопорта она сделала исключение. Потому что после того, *первого*, этот Раппопорт был самым ярким мужчиной в ее жизни. А если честно, то он был даже ярче того, первого – рискованней, авантюрней. И он промчался сквозь ее жизнь, что называется, навывлет – словно какой-то сквозняк случайно занес его в ее кабинет.

– Здравствуйте. Моя фамилия Раппопорт, с тремя «п», – сказал он, блестя тем самым мягко-иронично-озорным блеском своих темных глаз, по которому Анна уже давно отличала зерна таланта от плевел посредственности. – Я из нелегальной экономики, и в прокуратуре на меня два дела. Вы будете меня защищать. Цена меня не интересует, ваши служебные расходы – тоже. Если вам нужны ассистенты, консультанты, специалисты в любых областях – все будет оплачено с лихвой. Ваша задача проста – выиграть процесс...

– Все расчеты с клиентами в нашей коллегии идут через кассу, – холодно сказала Анна.

– Конечно. Я уже уплатил.

– Что вы уплатили? – не поняла она: их кассирша Нина Гавриловна была грозой всей коллегии и никогда не брала у клиентов даже копейки без подписи ведущего адвоката и визы главбуха.

– Тысячу шестьсот рублей. За ознакомление с делом.

– Сколько-о? – ахнула Анна: их максимальная ставка за ознакомление с делом была тридцатник.

Раппопорт поставил на стол тонкий черный «дипломат» с цепочкой, которая была пристегнута к браслету на его запястье. Пижон, подумала Анна. А Раппопорт тем временем быстрым, почти неуловимым движением отстегнул браслет, освободил свою левую руку, нагнулся и поднял с пола емкий, квадратный, из светлой кожи саквояж. Этот саквояж он тоже поставил на стол, открыл блестящие замки-защелки и стал вытаскивать толстые и аккуратно переплетенные тома. А поставив эти тома двумя стопками перед Анной, снова пристегнул «дипломат» к запястью.

– Что это? – спросила Анна про толстые тома.

– Это копии документов, которые имеет на меня прокуратура. Шестнадцать томов по первому делу, и еще двадцать два я привезу, когда вы ознакомитесь с этими. Вы бы не стали делать эту работу за тридцать рублей, правда?

– Но как они могли принять у вас деньги *до* моего согласия?

– Анна Евгеньевна, моя фамилия Раппопорт, с тремя «п». И это все объясняет...

И так было всегда. Этот человек был гением бизнеса, казалось бы, невысказанного в условиях тотальной плановой экономики и диктатуры КПСС. Тридцати семи лет, среднего роста, плотно сбитый в плечах, с короткой стрижкой темных волос и большим «армянским» носом с горбинкой, он весь был сгустком веселой энергии, воли и талантливой изобретательности, направленной только на одно: аферы. Или, говоря языком Уголовного кодекса, экономические преступления в особо крупных размерах. Здесь было все: золотые прииски Колымы, черная икра Каспия, старинные иконы русского Севера, подпольные цеха ширпотреба в Закавказье, джинсовая ткань для одесских имитаторов «Wrangler» и даже мочевина для выделки кожи. Но ни в одном из 38 томов документов, собранных против него Прокуратурой СССР, не было ни одной бумаги, действительно изобличающей именно его, Раппопорта, в преступлении. Другие жулики, авантюристы, цеховики, главные бухгалтеры целых трестов, ответственные плановики, директора предприятий и даже министры воровали, утаивали продукцию, переплавляли ее с юга страны на север и наоборот и рано или поздно по пьяни, по глупости или по жадности попадали в поле зрения ОБХСС, милиции и прокуратуры. А на допросах всегда всплывало имя Максима Раппопорта, *главного консультанта*, придумавшего всю авантюру. Но нигде, ни на одной бумаге не было его подписи или записи о получении им даже одной копейки. И это было его принципом.

– Понимаете, Анна Евгеньевна, – объяснил он Анне сразу после того, как она прочла первые 16 томов его дела, – когда имеешь дело с *этой* публикой, нужно с самого начала знать, что это плебеи и что они обязательно сгорят на водке, бабах или просто на глупости. А моя фамилия Раппопорт, и каждая буква, даже лишнее «п», мне дороже всего золотого запаса Советского Союза. Поэтому я только консультант. Мои руки никогда не прикасались ни к одной деловой бумажке! Так что вы обязательно выиграете это дело, даже не сомневайтесь!

И разбирая его остроумные, как в шахматных партиях, комбинации подпольного бизнеса с государственной экономикой, Анна видела, что этот человек при его энергии, таланте, организаторских способностях и умении легко понять любой производственный или творческий процесс мог бы стать новым Капицей, Королевым, Бондарчуком, Григоровичем. Он мог бы конструировать самолеты, сооружать мосты, расщеплять атом, прокладывать дороги в тайге, находить нефть и снимать фестивальные кинофильмы. Но он занимался аферами, только аферами и ничем больше.

– Конечно, я умней любого кремлевского министра, – соглашался Максим и объяснял Анне уже потом, в разгар их короткого романа: – Но моя фамилия Раппопорт, и рядом со мной они как уличная шпана при встрече с Власовым. Понимаешь? Ведь эти вожди мирового пролетариата с трудом помнят таблицу умножения, а я в уме извлекаю квадратные корни. Они

шестьдесят лет строят социализм, а я в одну минуту меняю схему и из этих же кубиков получаю нормальный капиталистический бизнес. Спроси у Брежнева, сколько будет семью девять, он же будет напрягаться полминуты, чтоб вспомнить. Но парадокс в том, что это вы сделали нас такими умными. Ведь за пять тысяч лет даже из воды можно сбить сметану. Вы нас столько били, что нам пришлось выучиться на гроссмейстеров. Так как же я, гроссмейстер, могу работать на этих плебеев? Они истребили 60 миллионов человек – и еще орут на весь мир, что они лидеры человечества! И сами верят в это, клянусь! Хрущев верил, что совнархозы догонят Америку, Брежнев верит в Госплан. Ну разве нормальный, уважающий себя человек может на них работать?

Анна выиграла тот процесс. И выиграла сравнительно легко, потому что, во-первых, все уже *сгоревшие*, то есть сидевшие в лагерях, участники афер единодушно отказались от своих первоначальных, обвиняющих Раппопорта показаний. «Это было нетрудно, – небрежно сказал ей Максим потом, после процесса. – Их жены получают сейчас хорошую *пенсию*». А во-вторых, прокурор во время процесса почему-то не был ни агрессивен, ни даже настойчив.

– Неужели ты купил даже прокурора? – сказала Анна Максиму, когда на следующий день после окончания судебного процесса они вылетели в Сочи.

Держа на коленях свой неизменный черный «дипломат», как всегда пристегнутый к запястью левой руки, Максим ответил:

– Анечка, *этого* тебе знать не нужно. Моя фамилия...

– Раппопорт, с тремя «п», я знаю! – перебила она. – Но неужели даже на курорт нужно тащить этот «дипломат»? Это же пижонство! Что у тебя там? Шифры на случай атомной войны, как у Никсона?

– Ты хочешь увидеть?

– Да.

– Прямо сейчас?

– Да!

– Хорошо. – И он, не отстегивая «дипломат», правой рукой набрал на замке комбинацию каких-то цифр и откинул крышку. – Прошу!

Анна ахнула и невольно оглянулась по сторонам на спящих в ночном самолете пассажиров. «Дипломат» был полон пачками американских долларов. В ужасе Анна даже закрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Она, член коллегии адвокатов, летела на курорт с любовником-валютчиком! Да ведь тут не нужно даже обвинительных документов, а достаточно только этого чемоданчика, чтобы получить «вышку»! И никакие адвокаты – даже вся коллегия вместе – не помогут...

– Ты с ума сошел! А вдруг нас ведут?

– Вряд ли...

– Зачем тебе валюта?

– Это не мне. Это в Сочи уйдет одному человеку. И после этого у нас будет заслуженный отдых с ненавязчивым сервисом...

Отдых действительно был такой, о котором Анна не имела представления даже по фильмам из жизни калифорнийских миллионеров. Они жили в заповедниках, не нанесенных ни на одну карту Крымского полуострова. Они купались на пляжах, не известных даже любимым кремлевским космонавтам. Они ездили в черных правительственных лимузинах, жили на правительственных дачах и катались на ракетных катерах, принадлежащих, надо думать, лично Командующему Черноморским военным флотом. При этом сервис, который их сопровождал везде, был настолько ненавязчивым, что они ни разу не встретили хозяев этих вилл, лимузинов, заповедников и ракетных катеров. Анна изумлялась:

– Максим, неужели мы в Советском Союзе?

– К сожалению, – отвечал он. – Но что еще хуже – мы встретились слишком поздно, чтобы что-то менять. Ты знаешь...

Она знала. Она знала, что у него в «дипломате» уже лежит разрешение на эмиграцию, которое он получил вчера ровно через два часа после того, как вышел из зала суда. Хотя другим евреям такое разрешение приходится ждать и по году. Но ведь он был Раппопорт – с тремя «п»! А кроме разрешения на эмиграцию, в его дипломате уже лежал билет на самолет «Москва – Вена», рейс 218 на 19 июля 1975 года. «Впрочем, – говорила она, – если бы я проиграла процесс, ты поехал бы не на Запад, а на восток – несмотря на все твои „п“!» Но она выиграла, и через двадцать дней он уезжал, и уже ничего нельзя было изменить. «К несчастью, Аня, даже я, Раппопорт, ничего не могу поделать. Двадцать дней – это мой цейтнот, ни минуты больше».

Тогда она не понимала, почему «цейтнот». При его возможностях отъезд можно было отложить хоть на год. Но она поняла позже. «Цейтнот» был потому, что в одном он соврал ей – он знал, что его уже ведут.

Его вели и тогда, когда он впервые явился к ней в коллегия адвокатов, и во время судебного процесса, и в самолете по дороге на юг. Только в Сочи, когда прямо от трапа самолета правительственная «Чайка» без номерных знаков умчала их в заповедник, не нанесенный ни на одну карту Крымского полуострова, те, кто вел их в самолете, озадаченно почесали, наверно, в затылках и бессильно развели руками. Но когда Максим и Анна вернулись в Москву, его повели опять.

Он знал, что его поведут, и поэтому сказал ей еще в аэропорту, в Домодедово:

– Все, Аня. Для тебя я уже уехал.

– Почему? – изумилась она.

– Так надо.

– Ты скотина!

Он посмотрел ей в глаза, и впервые за все время их знакомства в его глазах не было озорного блеска гения. В них была боль.

– Аня, моя фамилия Раппопорт, ты знаешь. Но если бы я мог отдать им эту фамилию, всю, с тремя «п», и взамен взять тебя и уехать, я бы это сделал, клянусь моей мамой Ривой Исааковной. Но это уже невозможно. Ну поверь Раппопорту...

Она обиделась. Она обиделась и прямо из аэропорта уехала уже не с ним, а отдельно, в другом такси – как он и настаивал. И она не слышала о нем до его отъезда, хотя каждый день и час была настороже, в ожидании его звонка, его стремительного появления. Он не позвонил и не появился, и за два часа до отлета его самолета она прыгнула в свой «жигуленок» и сломя голову понеслась в Шереметьево. Но Максима там не было. Самолет, улетающий в Вену рейсом 218, был, туристы-австрийцы были, еврей-эмигранты – тоже, целых шестнадцать семей с детьми, чемоданами и баулами. Но Максима Раппопорта не было. Она хотела спросить о нем у дежурной по посадке, но в последний момент остановила себя – вспомнила его «дипломат», набитый американской валютой. Она была московским адвокатом и хорошо знала правила игры. Империя могла смотреть сквозь пальцы на хозяйственные преступления внутри страны, но становилась нетерпимой к тем, кто нарушал ее монополию на печатание денег и валютные операции. Даже «либерал» Хрущев вышел из себя, когда узнал о валютчиках Рокотове и Файбышенко. Хрущев приказал расстрелять их – до суда! А ведь у Рокотова было «всего» двести тысяч долларов...

Сколько было у Раппопорта, Анна узнала через три недели. Впоследствии, когда история Раппопорта стала легендой, эта цифра все увеличивалась и увеличивалась, но, наверно, та, которую называли сразу, по горячим следам, была близка к истине.

У Раппопорта, сказали, был миллион долларов.

И это было похоже на него – он любил эффектные цифры. Уехать из СССР с неполным миллионом – нет, его самолюбие страдало бы от этого. А больше миллиона – какой-нибудь

миллион с хвостиком тысяч в сто – тоже не в его характере, он не был мелочным. Поэтому Анна сразу поверила в эту цифру – миллион долларов стодолларовыми купюрами. Он скупал эти стодолларовые банкноты у мелких и крупных фарцовщиков в Москве, Ленинграде, Риге, Одессе и платил советскими деньгами практически любую цену, а валютой – 125 и даже 150 долларов за сотенную купюру.

Конечно, он *наколотся* на слежку, это было неизбежно. Но он продолжал открыто, вызывающе ездить по Москве и другим городам со своим неизменным черным «дипломатом», пристегнутым к запястью левой руки. Он возил в этом «дипломате» пачки советских и несоветских денег, встречался с *фарцой* и скупал у них стодолларовые банкноты, которые в том же «дипломате» отвозил к себе домой, в свою квартиру на Фрунзенской набережной. Там он аккуратно складывал эти деньги в потайной сейф, вмурованный в стену за камином.

На что он рассчитывал? Ведь в КГБ, в 10-м отделе Политической службы безопасности, созданном специально для борьбы с «экономическими преступниками», то есть со спекулянтами иностранной валютой, знали о каждом его шаге и даже о том, что он подал документы на эмиграцию. Почему же они не брали его, не арестовывали при его встречах с фарцой, а наоборот – дали ей, Анне, возможность выиграть процесс, а ему – разрешение на эмиграцию? Разве они не понимали, что он скупает валюту не для того, чтобы оставить ее в московской сберкассе, а для того, чтобы вывезти?

Они понимали. Начальник 10-го отдела майор госбезопасности Швырев и его бригада, которая вела Раппопорта и его черный «дипломат», – они понимали все. И тем не менее они не мешали ему собирать этот миллион. Когда Раппопорт и Аня загорали на сочинских пляжах и занимались любовью на виллах в правительственных заповедниках, не нанесенных ни на одну карту Крымского полуострова, Швырев и его сотрудники своими руками пересчитали валюту в квартире Раппопорта, в секретном сейфе, вмурованном за камином. Но в те дни там еще не было миллиона, там до миллиона не хватало каких-нибудь семидесяти тысяч. И они оставили в этом сейфе все деньги нетронутыми. Потому что у Швырева и К° были свои амбиции – они тоже хотели миллион. Зачем нам рыскать по мелким валютчикам, арестовывать, допрашивать, вскрывать полы в их квартирах и вспарывать их матрасы в поисках каких-то десяти – пятнадцати тысяч долларов, рассуждали эти дошлые гэбэшные волки. Пусть Раппопорт сделает эту работу, пусть он соберет нам миллион, а мы просто изыдем эти деньги в момент передачи их за границу.

Короче говоря, они играли против него уверенно и спокойно, в солидной манере шахматного чемпиона Карпова. И именно ради этого миллиона они попросили Прокуратуру СССР «не быть слишком настойчивой» во время процесса Раппопорта. Разве могла Прокуратура отказать КГБ? Ведь в конце концов что важней – отправить жулика Раппопорта в сибирский лагерь на лесоповал или заставить его собрать для государства миллион долларов?

Правда, чем ближе становился день отъезда Раппопорта, тем тревожней чувствовали себя Швырев и его бригада – они не понимали, как он собирается переправить свой миллион за рубеж. Однако он успокоил их – 12 июля он привез на Колхозную площадь, в мастерскую «Кожгалантерея», шесть огромных новеньких кожаных чемоданов и лично директору мастерской Гуревичу Л.А. заказал снабдить все эти чемоданы двойным дном и двойными стенками. А на следующий день, 13-го, он через подставное лицо по фамилии Мендельсон передал начальнику шереметьевской таможни ровно 100 000 рублей.

Они поняли, что заветный миллион на подходе. Поэтому лучшие эксперты-техники КГБ помогли Гуревичу так искусно переделать все шесть чемоданов, что не только простые советские, но даже матерые американские таможенники не углядели бы переделки. А начальник шереметьевской таможни майор Золотарев благосклонно принял взятку от товарища Мендельсона...

Теперь им оставалось одно из двух – либо нагряться к Раппопорту домой и изъять миллион из сейфа за камином, либо ждать, когда этот миллион сам, своими ногами придет в Шереметьево к отлету самолета «Москва – Вена». Ясно, что Швырев выбрал второй вариант. Ведь одно дело – доложить Андропову, что в квартире у жида по фамилии Раппопорт вы нашли миллион долларов, а другое – что изъяли этот миллион при его эмиграции, на таможне! *«Миллион на таможне»* – это событие, это героизм, бдительность, вокруг этого куда легче построить громкое дело и очередную антиеврейскую кампанию в прессе.

Между тем Раппопорт наглед уже буквально по часам. За четыре дня до отъезда, в воскресенье, 15 июля, он закатил у себя дома «отвальную» на сто персон. Там был цвет Москвы, Ленинграда, Риги и Одессы. Там был самый знаменитый бард со своей женой-кинозвездой, и цыгане из театра «Ромэн», и половина кордебалета Большого театра, и скандально-модные художники, и поэты, и кинозвезды, и театральные режиссеры, и капитаны самого популярного в империи телешоу «КВН», а также несколько дипломатов мелкого ранга из посольств Нигерии, Австралии, Аргентины и США.

Конечно, за домом на Фрунзенской набережной, где жил Раппопорт, была установлена тщательная слежка, а несколько групп «уличных хулиганов» ошупали американских и австралийских дипломатов, когда те на рассвете вышли от Раппопорта. Но ни пачек денег, ни вообще каких-либо пакетов не было ни у кого, кто покидал в ту ночь квартиру Раппопорта на шестнадцатом этаже этого «элитного» дома на Фрунзенской набережной. Правда, у барда была гитара, но, судя по той легкости, с какой его жена несла эту гитару за пьяным мужем к их «мерседесу», гитара была пуста. Правда, в кармане американского дипломата, который вышел почти последним, «хулиганы» нащупали две или три катушки фото пленки, но разве можно спрятать миллион долларов в эти три катушки?

Короче говоря, «отвальная» прошла без последствий – гости пили советское шампанское и импортное виски, ели черную икру из «Даров моря» и шашлыки из «Арагви», слушали знаменитого барда и при свете камина чуть не до утра танцевали с цыганами и девочками из Большого театра. А когда танцы кончились и все гости частично разъехались, а частично разбрелись по пятикомнатной квартире Раппопорта, камин продолжал гореть, и вспышки блица помогали тем, кто еще оставался на ногах, фотографироваться «на память» с хозяином.

Наблюдая снизу, с набережной, за окнами на 16-м этаже огромного «элитного» дома и слушая знаменитого барда с помощью скрытых в квартире Раппопорта микрофонов, майор Швырев и его люди не переставали изумляться, каким образом в империи всеобщей поднадзорности, многолетних очередей на жилье и строжайшего учета распределения жилого фонда комиссиями старых большевиков, райкомами партии и Моссоветом эти жулики, аферисты и махинаторы ухитряются, нигде не работая, жить в пятикомнатных квартирах, да еще в домах категории «А-прим», которые строятся исключительно для высшего эшелона партийной номенклатуры!

И, томясь в ночной сырости, плывущей с Москва-реки, майор Швырев согревал себя зыбкой надеждой, что после успешного завершения операции «Миллион на таможне» Андропов благосклонно пожалует ему не только подполковничьи погоны, но и раппопортовскую квартиру. Ведь у него двое детей, мать, отец и теща – все живут в двухкомнатной в Теплом Стане...

Весь последующий день, 16 июля, Раппопорт спал или приходил в себя с похмелья. А 17 июля в 11 утра вдруг вызвал самое обычное, из соседнего таксопарка такси, погрузил в него шесть своих кожаных и подозрительно легких чемоданов и, сев рядом с водителем, приказал: – Поехали.

Дежурная бригада наблюдателей растерялась. Конечно, они не дали ему смыться на этом такси, а сидели у него на хвосте, одновременно вызывая по радио подмогу и главное начальство. Но паники еще не было – мало ли куда мог Раппопорт везти свои чемоданы? Может быть, решил переделать их, усовершенствовать?

Однако, поколесив по центру Москвы и нигде не остановившись, такси Раппопорта проскочило по всей улице Горького до Белорусского вокзала, потом продолжило путь по Ленинградскому проспекту – все дальше и дальше от Москвы. Мимо Речного вокзала... загородных новостроек... Куда?

В Шереметьево!

Когда такси свернуло к Шереметьево, паника воцарилась в радиоэфире. Он что – с ума сошел? Или он с похмелья дату перепутал? Он же не сегодня летит, а послезавтра! Кто там дежурит в аэропорту? Что? В списках пассажиров сегодняшнего рейса номер 218 тоже есть М. Раппопорт? Как это может быть? Что? У этих евреев каждый шестой – Раппопорт? Черт возьми, неужели у него два билета – один на сегодня, а второй на 19-е? А начальник таможи на месте? Нет Золотарева? Выходной? Господи, может быть, предупредить этого жида, что он не в свой день едет?

Предупреждать, конечно, не стали. Успели организовать.

Пока Раппопорт стоял в очереди евреев-эмигрантов на проверку багажа, вся бригада гбэшников, которая вела его последние семь месяцев, примчалась в Шереметьево и была на месте, по ту сторону таможенного контроля. И даже майора Золотарева выдернули с его дачки в Болшеве. Еще бы! Ведь предстояло брать самого крупного валютчика, и к тому же еврея! Миллион долларов! Было отчего потирать руки и нервничать особым, радостным ознобом охотников, обложивших зверя.

Шесть филеров не только не спускали глаз с заветных чемоданов Раппопорта, но практически держали их в кольце своих ног и, не отставая от Раппопорта, «вели» эти чемоданы к таможенной стойке – каждый свой, персональный чемодан.

Между тем общая атмосфера в зале ожидания Шереметьевского аэропорта изменилась совершенно неузнаваемым образом. Евреи-эмигранты, которым выпало улетать 17 июля 1975 года, не могли понять, почему таможенники вдруг прекратили придирааться к их вещам, а стали бегло, наспех просматривать только один чемодан из пяти, ничего не отнимая и не конфискувая. Почему их вдруг перестали интересовать серебряные вилки, нитки кораллов, мельхиор и даже фототехника! Почему они поспешно шлепали штампы в зеленые еврейские визы и авиабилеты и говорили: «Следующий! Быстрее! Проходите! Следующий!»

Следующий – наконец! – был Максим Раппопорт. Он ничего не замечал вокруг себя – ни слезки, ни торопливости таможенных инспекторов. И матерые гбэшные волки во главе с майором Швыревым наслаждались этим. Они снимали Раппопорта скрытыми фото- и кинокамерами, и они позволили ему самому, собственноручно, принести на таможенный стол все шесть его кожаных чемоданов и неизменный черный «дипломат».

Так кот растягивает процедуру поедания мышонка, попавшего ему в лапы, – кот играет с ним.

– Ваш билет?

Раппопорт положил перед таможенником свой билет на сегодняшний рейс.

– Виза?

Раппопорт – с наигранным, конечно, спокойствием и якобы даже с беспечностью в лице – предъявил листок с советской выездной и австрийской въездной штампами-визами.

– Откройте замки ваших чемоданов.

– Они открыты.

– Что?

– Они не заперты...

– Гм... Откройте этот чемодан!

Это был пароль, которого они ждали так давно!

Шесть офицеров КГБ во главе с майором Швыревым и в сопровождении майора Золотарева возникли за спиной таможенного инспектора, уже подготовленного к своей миссии героя – разоблачителя валютчика.

Раппопорт удивленно посмотрел на них и с беспечным видом отбросил крышку первого чемодана. В чемодане лежали семь нестиранных мужских сорочек. И все. Однако майор Швырев и его бригада знали секрет Раппопорта, а потому таможенный инспектор уверенной и вооруженной ланцетом рукой аккуратно вспорол дно и стенки этого чемодана. А кинооператор вышел из-за стеклянного барьера и, уже не таясь, навел трансфокатор на вспоротое днище этого чемодана.

Но – там было пусто.

Между первым и вторым дном чемодана, а также между его двойными стенками не было *абсолютно ничего*, даже пыли.

Таможенник, удерживая на лице бесстрастное выражение, пропорол этот чемодан насквозь – вдоль и поперек его днища, крышки и стен. Пусто.

– Следующий чемодан! Открывайте!

Раппопорт пожал плечами и открыл второй чемодан. В этом чемодане тоже были нестиранные мужские рубашки в количестве шести штук. И три пары мужских трусов.

Таможенник небрежно вышвырнул это барахло прямо на пол и занес над пустым чемоданом свой остро отточенный ланцет.

– Может, не надо? – попросил Раппопорт, изображая невинность на своем носатом лице. – Хороший чемодан. Чем портить, могу подарить!

Но – *врагу не удалось вывести из себя инспектора таможенной службы. Границы советского государства охраняют выдержанные и тренированные люди.*

Опытная рука снова аккуратно, без аффектации, вспоролла днище, крышку и стенки роскошного кожаного чемодана.

Однако и здесь не было ни-че-го.

– Следующий чемодан!

В следующем – третьем – чемодане была та же потайная пустота, прикрытая лишь двумя парами потертых джинсов.

– Следующий!..

Нужно ли рассказывать, как, позеленев от злости, они изрезали в клочья все шесть его чемоданов и буквально разрубили на куски его пресловутый черный «дипломат»? Нужно ли говорить, что они обыскали его самого, просветили рентгеном и провели через унижительную процедуру проверки анального отверстия? И нужно ли говорить, что, кроме 90 долларов, легально разрешенных к вывозу в то время, они не нашли в его карманах, в его зубах и даже в его анальном отверстии *абсолютно* ничего ценного?

– Можете взять свои вещи!

Собрав с пола свои нестиранные рубашки, трусы и две пары джинсов, Раппопорт положил пару джинсов и две сорочки в авоську, а все остальное свернул в узел, бросил этот узел в мусорную урну, обмахиваясь от жары австрийской визой, пошел на второй этаж аэровокзала, на паспортный контроль.

Здесь, уже перед выходом на посадку, его остановил майор Швырев:

– Одну минутку, Раппопорт!

– Простите?

– Где валюта?

– Вот... Вы же видели... – Раппопорт вытащил из кармана жалкую пачку – 90 долларов.

– Не морочьте голову! Вы знаете, о какой валюте я говорю! Смотрите! – И Швырев протянул Раппопорту несколько больших черно-белых фотографий, на которых Максим был снят

в моменты приобретения валюты у фарцы в Москве, Ленинграде, Риге и Одессе. – Итак! Или вы скажете, где эта валюта, или я сниму вас с рейса!

– Ах, *эта* валюта! Вот вы что искали! – воскликнул Раппопорт. – Ну, дорогой мой, вы бы так и сказали с самого начала! А то изрезали такие дорогие чемоданы! И с чем я еду? Стыдно в Вене выйти из самолета!

– Не валяйте дурака! Ну!

Глубокая печаль легла на носатое лицо Максима Раппопорта.

– Разве вы не знаете, что случилось, товарищ майор? – сказал он. – Эти жулики меня надули. Ужасно, страшно надули! Они же подсунули мне фальшивые стодолларовые купюры! Я собирал их по всей стране! Я так старался – вы же видите! – Он кивнул на уличающие его фотографии. – И что? Боже мой, вчера ночью я чуть не получил инфаркт! Я показал эти сраные деньги американским и австралийским дипломатам, и они тут же сказали, что все мои деньги – туфта. Подделка! Даже нигериец и тот понял это с первого взгляда! И я их сжег. А что мне оставалось делать? Я сжег их в своем камине! Позвоните вашим людям, которые наверняка уже сидят в моей квартире, и попросите их пошуровать в камине как следует. Эти фальшивые деньги плохо горят, и, я думаю, там еще можно найти клочки...

Но майору Швыреву не нужно было звонить в бывшую квартиру Раппопорта, он *уже* разговаривал со своими сотрудниками, которые помчались в квартиру Раппопорта, как только оказалось, что и третий чемодан Раппопорта пуст. И эти сотрудники *уже* сказали майору Швыреву о том, что в камине среди груды пепла они нашли 649 несгоревших клочков американских стодолларовых банкнот. «Он сжег миллион долларов!» – кричали они в телефон.

– Что ж делать, дорогой? – грустно сказал Максим Раппопорт майору Швыреву и товарищески потрепал его по плечу, уже ожидавшему такие, казалось бы, близкие подполковничьи погонны. – Что делать? Как говорил мой папа Раппопорт, с деньгами нужно расставаться легко. Даже с миллионом. Даже миллион, говорил мой папа, не стоит буквы «п» в нашей фамилии. Я могу идти?

Швырев не шевельнулся и не сказал ничего.

– Честно говоря, майор, я думал, что это ваша работа. Что это вы подставили мне липовые купюры. Разве нет?

Швырев молчал.

Раппопорт пожал плечами, повернулся и пошел на посадку в самолет, все так же обмахиваясь австрийской визой и покачивая авоськой с джинсами.

Майор Швырев смотрел ему вслед до самого конца и даже проводил взглядом его самолет.

А назавтра, 18 июля, эксперты КГБ доложили майору, что спектральный и химический анализы клочков стодолларовых купюр, найденных в камине Максима Раппорта, показали совершенно определенно: это были *настоящие*, подлинные американские деньги! Но даже и в этот день Швырев еще не понял, что случилось. Неужели Раппопорт сам, своими руками сжег миллион долларов?!

Только через неделю, ночью, Швырев проснулся в холодном поту от того, что во сне, в ужасном, кошмарном сне он вдруг воочию увидел, как обвел его Раппопорт.

Он действительно сжег миллион долларов – десять тысяч стодолларовых купюр! Он сжег их на глазах трех американских и двух австралийских дипломатов. Но *до* этого каждый из этих дипломатов получил от Раппопорта микропенки с фотографиями всех этих купюр, а также перечень их номерных знаков. И они сами, собственноручно и своими глазами сверили эти номерные знаки с оригиналами. А потом составили акт об уничтожении этих денег путем сожжения.

Там, в США, на основании этих документов, заверенных представителями двух посольств, американский федеральный банк выдаст Раппопорту ровно миллион долларов взамен уничтоженных.

Первый отдел Второго главного управления КГБ, контролирующей деятельность западных дипломатов в Москве, бросился искать тех дипломатов, которые были на «отвальной» Раппопорта. Но, как еще той же ночью предположил Швырев, они – все пятеро – улетели из Москвы одновременно Раппопортом – 17 июля 1975 года.

Впрочем, эти детали молва могла и перевернуть для пущей красоты легенды. Однако все рассказчики этой нашумевшей в Москве истории неизменно заключали ее одной фразой: КГБ, говорили они, играло против Раппопорта уверенно, как Карпов. А он переиграл их, этот Раппопорт с тремя «п».

Единственное, чего не понимала Анна даже три года спустя, сидя на скамейке на площади Пушкина, – это почему с тех пор Максим ни разу не дал о себе знать. Она-то знала, что он в Бостоне и, как донесли ей доброжелатели, «в полном порядке». Но он, который готов был отдать всю свою фамилию с тремя «п» за то, чтобы вывезти ее с собой, сам не передал ей ни приветов, не позвонил, не прислал письма.

– К черту! – горько сказала себе Анна, выкуривая третью, наверно, сигарету. К чертовой матери! Она должна думать о себе, а не о Максиме. Гольский поставил перед ней проблему, которую все равно нужно было решать рано или поздно. Конечно, она не еврейка, но при ее еврейском круге знакомств и пристрастий и при ее кличке «Анна Евреевна» нельзя прятать голову под крыло своей русской пятой графы и подставлять все остальное этим гольским, кузяевым, швыревым и прочим хорькам великой Советской империи. «Поимеют! Они – тебя – поимеют!» – вдруг с твердым и холодным ожесточением сказала Анна сама себе, даже не подсчитывая все остальные про и contra. Что ж тут подсчитывать, если они ведут ее уже несколько лет (как минимум – три!), если они знают про нее все или почти все и если они действительно могут в любой момент шантажировать ее Максимом, левым бизнесом отца-алкаша или своим влиянием на карьеру Аркаши и ее собственную.

– А вот уж фуюшки! – усмехнулась она и мысленно сказала этому Гольскому: «Выкуси, дорогой! Ты думаешь, что знаешь обо мне все, но ты не знаешь одного – я свободна! Я свободна от Аркаши, понятно?»

Тогда, в 1975-м, в день ее прилета из Крыма, мужа не было дома – он, как обычно, торчал в Черноголовке, в своем закрытом институте, и ночевал там же, в общежитии ученых – у него была там комната. Анна дозвонилась до него, вызвала в Москву, рассказала о Максиме и сказала, что хочет развестись. Но Аркадий сказал:

– Зачем тебе развод, если он уезжает? Если ты не хочешь больше спать со мной – я проживу без этого. И вообще – можешь в *этом* отношении считать себя совершенно свободной. . .

И так это осталось – они жили в одной квартире, но независимой жизнью друзей, а не супругов. Аркадий, она знала, любил ее, надеялся на что-то, но если она уедет, она освободит его, развяжет и этот узел. А в Америке у нее сын. Сын и Максим Раппопорт. Так пошли вы все на хер! К сыну они обязаны ее выпустить – по статье про объединение семей, «И если я действительно уеду, – настропаляла себя Анна, – то Аркаше от этого только польза будет, он освободится от компромата. . .»

Она вытащила последнюю сигарету из пачки. Закурила. Прищурилась в задумчивости. *Разве уважающий себя человек может работать с этими плебеями?*

– Вы много курите. . . – сказал длинноволосый хиппарь с гитарой.

– Это последняя. Я бросаю, – сказала Анна.

Она встала со скамейки, сделала последнюю затяжку и решительно затоптала сигарету носком своей левой туфли. Потом вскинула голову и каким-то новым, перископическим зре-

нием увидела всю улицу Горького, Тверской бульвар и Пушкинскую площадь. В сиреневых светлых летних сумерках по краям площади зажигались старинные чугунные фонари, а за ними, через улицу, желтыми квадратами высветились окна «Известий», неон вспыхнули вывески «Moscow news» и «Арагви», и скрытые в кустах прожекторы осветили фонтан перед кинотеатром «Россия». И на гранитном постаменте, окруженном цепями, – статую Пушкина с наклоненной к прохожим задумчивой курчавой головой. Анна знала, что до ее отъезда еще далеко, очень далеко – даже если она завтра же подаст заявление об увольнении с работы «по собственному желанию». Но она вдруг поняла, что внутренне она уже *отстранилась*. И поэтому ее глаза приобрели способность увидеть все прощальным зрением, запоминающим каждую деталь. Этого московского хиппаря с гитарой... Этого грустного арапа Пушкина, даже через сто лет после смерти окруженного цепями в центре оплота мира и всего свободолюбивого человечества... Эту молодую толпу – шаркающую по пыльному асфальту, смеющуюся, задевающую ее за плечо, облизывающую эскимо, пахнущую свежими мимозами и не уступающую дорогу машинам на Тверском бульваре...

Анна шагнула вниз, в подземный переход через улицу Горького, но вдруг резкая трель милицейских свистков, топот ног, крики, хлесткие удары мордобоя и глухой звук падающих тел заставили ее оглянуться. И так, уже наполовину скрытая в переходе, Анна замерла, как в трансе. Возле памятника Пушкину творилось что-то ужасное. Группа мужчин и женщин стояла за цепью, у постамента, тесным кольцом, высоко подняв над головой плакаты с шестиконечными звездами и от руки написанными словами: «ОТПУСТИ НАРОД МОЙ!» Тот самый лохматый парень-хиппарь, который две минуты назад мирно брэнчал на гитаре песни Окуджавы, теперь тоже стоял под Пушкиным, высоко держал гитару над головой, и на тыльной стороне этой гитары была синяя шестиконечная звезда.

– Отказники... – сказал кто-то рядом с Анной.

Анна, замерев, видела, как со всех сторон – с Тверского бульвара, с Горького, от метро «Пушкинская», из подъезда «Известий» и, грубо толкнув ее, из подземного перехода – к этой группе демонстрантов, освещенных пушкинскими прожекторами, стремительно бежали милиционеры, дружинники с красными повязками на рукавах и какие-то крепкие, спортивного кроя молодые мужчины в серых костюмах. Первые из них, авангард, уже врезались в группу отказников и без слов с ходу, наотмашь, кулаками в челюсти и ногами в живот били этих несопротивляющихся людей, рвали у них из рук плакаты и топтали их ногами, а вторая волна атакующих уже крутила руки хиппарю с гитарой.

Какая-то девушка упала, крича: «Звери! Да здравствует свобода!»

Боковым зрением Анна увидела высокого иностранца, который на той стороне улицы Горького поднял над своей головой фотоаппарат. Но его тут же сбили с ног, вырвали камеру, и объектив этой камеры тут же хрустнул под чьим-то каблуком.

А дальше, из-за кафе «Лира», уже выскочил «черный ворон», словно по волшебству оказавшийся наготове. Наперерез движению по Горького этот «ворон» рванул прямо к Пушкину, подпрыгнул при ударе передних колес о тротуар и лихо тормознул на чугунных пушкинских цепях в полуметре от свалки и мордобоя. Мигом – изнутри – распахнулись железные задние дверцы «воронка», и вот уже избитых, окровавленных, в порванной одежде демонстрантов с их изорванными плакатами и разбитой гитарой впихивают, заталкивают и кулями швыряют в темную глубину машины. А они еще рвутся, сопротивляются и кричат: «Мы мирная демонстрация! Вы подписали Хельсинкское соглашение!...»

Анна, онемев, продолжала стоять на второй ступеньке подземного перехода. Все, что она видела, было как в кино, как во сне, как в кошмаре, который невозможно остановить, – мигом опустевшая Пушкинская площадь, словно сдуло гуляющую толпу, минутный мордобой, хруст плакатов под ботинками дружинников, крики женщин, разорванная одежда, выбитые с кровью зубы и этот «воронок», поглотивший всю группу демонстрантов, хлопнувший задними двер-

цами, лязгнувший наружным замком-засовом и тут же отчаливший по Тверскому бульвару в сторону близкой Петровки.

И – все. Спортивного кроя молодые люди быстро подобрали клочки плакатов и чью-то туфлю; дружинники подошвами ботинок затерли пятна крови на асфальте и тут же разошлись, мирно закуривая; и уже новые волны гуляющей публики накатили на площадь снизу от Главтелеграфа и сверху, от площади еще одного поэта – Маяковского. Люди, не видевшие этого блиц-погрома, громко, как и прежде, флиртовали на ходу, ели эскимо, раскупали у торговки желтую весеннюю мимозу, а в ларьках – сигареты. И замершее было движение машин по Горького возобновилось, «Жигули» и «Волги» зашуршали шинами и нетерпеливо загудели при повороте на Тверской бульвар. И все так же беззвучно струился фонтан перед «Россией», и все так же безмолвно и с задумчивой грустью смотрел на этот нелепый народ его самый великий поэт – Александр Пушкин. Сто пятьдесят лет назад он тоже просил царя разрешить ему поехать за границу, но царь отказал даже ему, Пушкину, и Пушкин – первый русский *поэт-отказник* – застрял в России навек. Огражденный цепями, он стоял сейчас на улице имени еще одного пленника – Максима Горького. Этот «великий пролетарский писатель» просил уже другого царя – Иосифа Сталина – тоже отпустить его за границу. Но с тем же результатом: теперь и он, *отказник*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.